

1

*“Совершенно секретно
Начальнику Особого отдела Северо-Кавказского фронта
полковнику Белкину М. И.*

Служебное донесение

В соответствии с приказом НКВД № 001683 от 18.02.1942 г. возглавляемая мной группа Особого отдела 44-й армии провела оперативно-розыскные мероприятия в полосе наступления наших войск, на освобождённой от оккупантов территории Беломечётского района Ростовской области и в пограничных населённых пунктах Краснодарского края. В ходе расследования по горячим следам были выявлены и арестованы:

Предателей — 7,

Полицаяв — 3,
Фашистских пособников — 18,
Дезертиров РККА — 4,
Бежавших из мест заключения уголовников — 4,
Прочих изменников Родины — 1.

Привожу список и характеристики преступных элементов, против которых применены репрессивные меры, в том числе ВМН...”

* * *

В предвоенные годы Семён Минич Гарига выделялся среди станичников тем, что на праздничных демонстрациях носил, как хоругвь, на высоком древке портрет Сталина. А в будни этот “образ”, по словам соседей, красовался в переднем углу его хаты, под узорчатым рушником. На все расспросы Гарига отвечал односложно и скупо, по привычке мешая русские слова с украинскими:

— Нема большевика мэни дорожче! Бачил Иосифа Виссарионовича в Царицыне. Отдал я ему честь, а вин кажэ: “Мы буржуев побьемо и встановымо нашу советскую власть”. На тачанке подвиз его в штаб дивизии, до Ворошилова.

В районном отделе милиции знали, что колхозник почём зря трезвонит о встрече с вождём. Но никто из сотрудников не решался укоротить ему язык, ибо такие действия “наверху” могли истолковать по-разному. Например, как выпад против лидера партии в угоду троцкистам.

И всё же это было весьма странно, поскольку слыл Семён Минич пустоболтом и нелюдимом, таившим душу за семью замками. Старожилы помнили, что он, отпрыск переселенцев-малороссов, вернулся с гражданской войны в будёновке. Однако однополчанин его как-то спьяну обронил, что вместе не только “давили вшу на астрицком фронте”, но и воевали в белой коннице Улагая. А спустя неделю этот болтливый казачок, метая в степи стог сена, невероятным образом напоролся на собственные вилы. Поговаривали о злонамеренном убийстве, однако свидетеля не нашлось.

До самой коллективизации жил Семён со своей бабой и дочерью на отшибе, держал бурёнку да пару быков, разводил сад и драчливых кочетов. Когда же всё вокруг стало “общим”, попрощавшись с раскулаченными родителями, не растерялся: сунул “барашка в кармашке” фельдшеру и предъявил в колхоз справку, ограждающую от тяжкого труда как подорвавшего здоровье “в борьбе за счастье народа и мировую революцию”. С тех пор и обосновался он на конюшне. Дело с малолетства было понятным, знал за лошадьми уход, разбирался в породах и повадках, впрочем, особой привязанностью к дончакам не отличался.

Заполошной стаей мчались годы, но в станице по-прежнему относились к Гариге с предубеждением и всячески сторонились его. А те, кому приходилось ездить с кучером на телеге, невольно испытывали настороженность, как с человеком, готовым на любые выходки. Гуляла молва, что, решив завладеть домом отца и матери, сам же и донёс на них в ОГПУ как на “кулацкий элемент”. Да не повезло: семейное подворье сельсовет отвёл под детские ясли. С той поры и ожесточился, стал придирчив к казачатам, гонявшим табун в ночное. А пострелы, как на духу, в один голос твердили, что знается дед с колдовской силой, и кнут в его руке будто бы вырастает, становясь угрожающе длинным и хлётким. Они же и окрестили его осиным прозвищем — Шершень, — прилепившись к чуждой для казаков фамилии.

Несмотря на почтенный возраст, Семён Минич был довольно подвижен, ступал своими раскоряченными ногами твёрдо и не утратил манеры присту-риваться на встречаемых, тая в глубоко посаженных глазах льдистую мглу. Седина пролилась по жёсткой щетине лица, а волосы на висках и затылке оставались всё такими же огненно-рыжими. И только лоб с большими заплешинами избороздили морщины, точно время оставило на нём памятные зарубки.

С весны до инистых утреников возил Гарига доярок к заречному коровнику на утреннюю и вечернюю дойку, а в страду, погрузив на телегу бочку, ещё и снабжал водою полевые станы. Случалось, по распоряжению бригадира гнал лихих в амбулаторию, доставляя туда рожениц или тяжелобольных. Но делал это неохотно, считая, что такие наряды не касаются колхозных дел. Зимой, особенно в морозы, отсиживался дома, ссылаясь на немочь, — следствие фронтальной контузии. И напарникам — хромоногому Агафону и деду Тарасу — приходилось отдуваться на конюшне за троих. Ни с кем Гарига не дружил, в помыслах был тёмный. И стар, и млад, помня о лютости “героя-буденовца”, загодя перебирались с дороги на обочину, как только показывалась его подвода. Иной раз (в отсутствие свидетелей) батога* доставалось не клячам, а зазевавшемуся ротозею. И если пострадавший жаловался бригадиру на рукоприкладство, то Шершень, отвергая клевету, выпячивал грудь и божился, что не только не трогал охальника, но даже не видел его в тот день. Вызывали не раз конюха в правление, разбирались, пугали милицией, и на том административные меры исчерпывались, и неприглядный проступок снова сходил ему с рук.

Так командовал лошадьми Семён Минич до августа сорок второго, до прихода немцев. На третий день оккупации был объявлен станичный сход. С крыльца сельсовета белообрый немецкий офицер возвестил свободу от большевицкого ига и посулил достойную жизнь под крылом фюрера. Затем переводчик предложил желающим выступить. Первым сквозь толпу протолкался Гарига. Из пыльного мешка он выдернул портрет Сталина, с силой ударил о цементированную площадку и минуту топтал, будто отбивал гопака. Свирепый вид аборигена, проклятия в адрес “усатого кровопивца”, поясные поклоны “германским спасителям” убедили фельдкоменданта в том, что этот унтерменш пригодится рейху.

И наутро станицу облетела новость, показавшаяся невероятной: малограмотного конюха немцы назначили старшим полицейским, определив в подручные двух ухарей помоложе — дезертира Тимченко и кулацкого внука Костю Касторнова. Во дворах язвили: коль возвеличили фрицы “неуча, отдающего навозом”, то и власть их таковская...

Но шутка не прижилась. Как только Гарига облёкся в немецкий френч и напялил пилотку, его точно чёрт обуял: стал многословен, груб и до самодурства придирчив. Доказывая свою преданность, он передал в комендатуру список активистов и переселенцев-евреев из Ленинграда. Глубокой ночью тридцать два жителя станицы (взрослых и детей) каратели СС увезли на грузовиках в неизвестном направлении.

А через день Шершень помогал уже интендантам в изъятии скота и крылатой живности. По его наводкам загорелые румынские парни учинили на подворьях грабежи. Желая выслужиться, в порыве небывалой щедрости, обер-полицай пожертвовал для немецких солдат целую фурманку (высокобортную телегу) своих первосортных яблок.

Гаригу точно понесло. Выведав о раненом красноармейце, скрывающемся в камышах, он привёл к реке подчинённых и выслал их вперёд с волкодавом, а сам, обойдя с другой стороны, затаился в лозняке. Когда из тростниковой чащобы на тропу выбрался бородач в форменных штанах и гимнастёрке, с перебинтованной головой, Гарига подпустил его шагов на пять и сразил из карабина. Фельдкомендант Кремер поощрил аборигена за усердие наручными часами и приказал вывесить благодарственные листовки.

На это Семён Минич ответил “вечерей”, куда позвал фельдфебеля, переводчика, четырёх солдат, а также своих подчинённых и разбитных молодёжков. Хотел было “ласкаво” пригласить и коменданта, да поостерегся, — не по рангу компания.

Патефон заливался до утра, плясовой перебор сапог и чуваков, визг и запевки слышались за три улицы. Стол был щедр, потому как расторопный “Костик-Касторка” в пылу грабежа подвернул подвинка к своему базу, выполняя волю командира. “Фройндам” веселье понравилось, в особенности

* Батог (донск.) — кнут.

мускатное вино, пирожки с печёнкой, зажаренный окорок и объятья грудастых молодых...

В Управе пировали. И никто из станичников больше не сомневался в выборе коменданта. Истина подтвердилась, что лихолетье являет миру кощунников и предателей. Разгоряченные думы уводили оказавшихся в неволе людей куда как далеко — и на фронт, где сражались родные и близкие, и в Москву, к народному заступнику Сталину. С волнением подступали мысли о Спасителе, о его милосердии и неизбежном возмездии. И ещё вспоминалась им судьба обер-полицая. Выходит, недаром до войны Господь не раз наказывал этого грешника...

2

Гарига появился на краю огорода негаданно.

— Ось ты иде, Николаич... С картохой воюешь? Бросай! — грубо приказал он, поправляя ремень карабина, висевшего на плече стволом вниз. — Пошли в хату!

Раскрасневшееся от раннего зноя, в окладе бородки лицо счетовода Меркулова, затенённое соломенной шляпой, тревожно застыло. Он вогнал лопату в затверделый грунт и, переведя дыхание, рослый и сухопарый, зашагал вдоль делянки с россыпью клубней. Полицей сдёрнул с головы пилотку, суконым рукавом вытер лоб.

— Бачу, богато нарыли... А у германцев нужда в провианте.

На дворе Пелагея Никитична кизяками разжигала печуру. Статная, с зачёсанными назад седыми волосами, пожилая казачка, увидев постояльца и Шершня, вытерла ладони о край передника и нахмурилась. Ещё свежо было в памяти, как три дня назад, надев поверх кофточки казачью гимнастёрку, она с вилами в руках защищала у двери сарая козу Зорьку. Трое мародёров угрожали автоматами. (Приказ запрещал им использовать оружие против мирного казачьего населения.) Но она не дрогнула! А вот несушек в курятнике уберечь не удалось...

Поняв, что полицай направляется в курень, Пелагея Никитична первой поднялась по деревянным ступеням. Следом забухал подковками ботинок полицай. В горнице он приставил карабин к столу и плюхнулся на единственный здесь венский стул. Комната наполнилась запахами ружейного масла, пота, ваксы и лука, без которого Гарига не обходился и дня. Хозяйка застыла у посудного шкафа-горки, вглядываясь в бывшего колхозного конюха. Немецкая форма — китель мышастого цвета с накладными карманами и нашивкой в виде орла, застёгнутый на все пять пуговиц, и глубокая пилотка враждебно, до неузнаваемости изменили конюха. Его вытянутое, в щетинистой поросли лицо багрово пламенело. Он с прищуром наблюдал, как счетовод, войдя и поклонившись образом, сел на топчан.

— Зараз я от коменданта, — объявил Гарига. — Так що захватил хвюпер Сталинград и досягнул аж до Кавказа! А Сталин в Америку убёг...

И помолчав, строго спросил:

— Ты, уважаемый, с якого года будешь?

— Рождён в тысяча восемьсот девяносто пятом, — ответил Меркулов, теряясь в догадках, с чем пожаловал блюститель порядка.

— Значится, в призывном разряде, — прикинул Гарига. — А колы поселился туточки?

— Четвёртый год у меня на постое, — встала хозяйка, глянув на Шершня с неприязнью.

— Тебя не спрашивают!

— В Беломечётскую переведён с поселения в ноябре тысяча девятьсот тридцать восьмого года, — всё той же монотонной интонацией, точно на допросе, подтвердил счетовод.

— За яку провинность в кутузку попал?

— Пятьдесят восьмая статья. Контрреволюционная деятельность.

Гарига хлопнул по коленям жилистыми, в костных шишках ладонями:

— А моих батькив* по сто седьмой! Будь вони, комиссары, прокляты! Ты, Николаич, — человек грамотный. Не стал я тэбэ в Управу звать, а сам уважил. Нехай про мэнэ брешут! А я, щоб ты знал, приходску школу с грамотой кончил и у генерала Улагая вестовым служил... За двадцать шагов с винтовки пятак срезал! Опосля взводом командовал, давал жару “краснозадым”! — Семён Минич потряс кулаком и вновь заинтересованно спросил: — А якому дилу обучен? Чем хлиб добывал?

Красивое лицо Меркулова, с разлатыми, порыжелыми от солнца бровями, оставалось, как прежде, спокойным.

— Работал в трамвайном депо. Имею аттестат об окончании курсов счетоводов. В лагере приходилось плотничать.

Гарига испытующе смотрел на счетовода. Но, видимо, так и не дождался того, чего хотел услышать.

— А ты не забыл що-небудь? — как бы удивился он и покосился в сторону хозяйки. — Чи есть в хате жива людына? Пот по морде текёт. Хочь бы ложечку воды дала!

Пелагея Никитична нехотя принесла из погреба квасу, и “гость” в один прихват выцедил кружку пенного напитка с ягодами смородины. Возвращая посудину, он распорядился:

— Ў вас, Пелагея, картоха уродилась. Два чувала реквизирую для германцев. Пойди и насыпь... А нам трэба по секрету побалакать.

— Мы её не для дяди растили! — вспыхнула хозяйка. — И-и... Наглючие твои гляделки, Сёмка! При старости лет — в чужие оглобли?!

— А ну, замовчь! Моду взяла... А то заберу в полицию — не пикнешь!

Когда, наконец, хозяйка удалилась, обозлённый Гарига повернулся к окну. По стеклу, жужжа, семенила, приподняв палевые крылышки, оса. Коротко перелетала на другое место и ещё быстрее перебирала лапками, пытаясь выбраться на волю. Семён Минич привстал и с хрустом припечатал её большим пальцем.

— Если это для вас важно... — продолжил Меркулов разговор. — Накануне большевистского переворота я окончил Кавказскую семинарию. Через три года был рукоположен в священники.

— Ото ж! — осклабился обер-полицай. — Проверял я твою карточку в правлении, у Наташки. Так що знаю, Николаич, про твоё життя всё наскрыз!

Меркулов напряжённо слушал.

— И про станичных розумно! Казаки нас, иногородних, гнобылы. Ше поквитаемось! — полицай скользнул взглядом по своим часам со свастикой на циферблате, по дощатому полу в сохлых травинках чабреца. Затем, будто игрушку, подхватил карабин и, любовно оглядев, поставил на прежнее место.

— А приказ, значится, такой! Передавай счетоводство учётчице. Немцы колхоз не разорили, а своего управляющего привезли. А нам с тобой нака... — Семен Минич откашлялся и договорил с хрипотцой. — Наказано нам церкву отккрыть.

Меркулов вздрогнул, по лицу его точно пробежал луч. А Гарига стал чеканить ещё внушительней:

— Нашу Троицкую церкву! И тэбэ, Николаич, назначаем с немецкими властями пресвитером. Сам я к вере не доже склонный. А леригию понимаю, як устав в полку. Нехай народ молится, абы не дураковал!.. Прикажу принести иконы, яки по хатам разбиралы, и церковные причандалы. Заготовим доски и гвозди. Дедам и парубкам прикажу на ремонт выйти. Выделю тебе, як батюшке, свободную хату и кобылу с двуколкой. Вот така писня!

Гарига, зацепив ремень карабина указательным пальцем, поднялся; на коленях старые льняные штаны вздулись пузырями. Тут же встал Меркулов.

— Это великое благоденяе — отккрытие церкви! — заговорил он взволнованно. — Но в моём личном деле ничего нет о том, могу ли я вернуться в церковное лоно. Приставлять священнослужителя к храму имеет право только архиерей.

* Батьки (укр.) — родители.

— Всех архиереев большевики повбывалы! — оборвал Гарига. — И ты, Меркулов, не вилый. Читать молитвы можно и под голым небом!

— Вы меня не слушаете... Многое, что необходимо знать перею, не имея практики, я запамятовал, — признался Меркулов. — Но и это не основное. Я столь грешен перед Господом нашим, что... Я вседневно и всечасно молю у Спасителя прощения. Но от содеянного не избавиться... И сейчас я не готов дать вам ответ...

Разомлевший от духоты и подуставший, полицей вздёрнул карабин на плечо. У двери обернулся и с ехидницей изрёк:

— Ты, Николаич, не наче свихнулся на радостях? Ишь, кается вин... А хто будэ приказ коменданта исполнять?!

В расширенных глазах Меркулова появился влажный блеск. Он с заминкой вымолвил, точно пугаясь собственных слов:

— Послушайте! Мною нарушена заповедь Христова... Шестая заповедь!

— Не убий? Так. Ну, и дальше?

— Тогда, на гражданской, в силу обстоятельств я был заряжающим орудия. Безусловно, при артобстрелах многие преставились...

— А я що, на гармонье отам играл?! — вскипел Гарига. — Убивал комиссаров — и буду! И ты на хронте у кого палил? У самих анчихристов!.. Зараз германьска влада*, и суд короткий... Добывай, Меркулов, рясу и принимай церкву! Да за ремонтом следи... А не то отправлю с пленными в степу траншеи рыть. Усэ понято?!

3

В эту сентябрьскую ночь Меркулов так и не сомкнул глаз, вороша в памяти свою долгую жизнь. Только детство живо помнилось ему, а молодость и последующие годы, словно туманом, сокрыты были лагерным сроком...

Всего несколько лет назад, когда в таёжной ночи молился на нарах, случившееся с ним представлялось очистительной жертвой за прегрешения. Там, в “рукотворном аду”, где на равных с рецидивистами “перевоспитывались” люди совершенно невинные, осуждённые по лжесвидетельствам и разнарядкам, душа Меркулова пребывала в мучительной раздвоенности, предстоя перед Господом и терпя кабалу дьявольских слуг.

В одинаковых условиях находились и верующие, и безбожники. Враг рода человеческого, укоровившись на православной земле, безостановочно влёк на пагубу русские души. Расстреливали за слово, за случайный жест, за шутку. А уж если ты, “враг народа”, угодил в “зону”, то сполна познаешь всю меру своей ничтожности!

Изо дня в день — бревенчатый барак одной и той же лагерной роты, одни и те же примелькавшиеся лица заключённых и надзирателей. Вселенское Зло и “советская власть” тут обрели зримое воплощение — надзиратели и конвоиры, офицеры и начальник лагеря Бугримов, от скуки стрелявший через форточку кабинета по кедровым шишкам. А ещё потешался тем, что ночами врывался в женский барак и, подняв арестанток на ноги, приказывал петь революционные песни.

В освобождение тогда не верилось, хотя лозунг над воротами барака гласил: “Советская власть не карает, а исправляет”. Измождённый и затравленный, с номером 09344 на ватнике, Меркулов разучился думать о себе впрок. Жил одним днём, следуя словам святого Антония: “Вставая от сна, не будем надеяться дожить до вечера и, отходя ко сну, будем помнить, что, быть может, не доживём до утра”. Исподволь приобщал к Богу других. О том, что он “поп”, лагерники узнали от кого-то из “стукачей”. На удивленье, немало собралось желающих в беседе с ним, как на исповеди, запоздало покаяться.

Чем тяжелей ему приходилось, тем истовой взывал в молитвах к Спасителю и вспоминал слова святителя Игнатия о незлобии. Сердцем внимал он завет — испить чашу скорбей до дна — и следовал этому, и утешал сотоварищей словами Учителя: “Терпением вашим спасайте души ваши”. Безропотно

* Влада (укр.) — власть.

убирал в бараке, выносил “парашу”, стирал, ухаживал за больными. И вышло на поверку, что он, осенённый верой Христовой, оказался духом крепче большевиков. Они, лишённые власти и благ, оклеветанные своими соратниками, лишь в лагере познали истинную цену “всемирного братства и свободы”. Мир, сотворённый Господом, они вознамерились “пересотворить” на свой лад. Но вера в коммунизм, в будущий земной рай, здесь оказалась бесплодной. Наверняка не раз вспоминалась репрессированная поговорка, что птица не чувствует боли, когда ей подрезают крылья, но летать больше не может.

Сосед по нарам, седоусый Нифонтов, земский фельдшер, угодивший под суд за вечеринку в годовщину смерти Ленина, помогал заключённым, чем мог, лечил снабдьём из хвоя и ягод. Нашёлся доносчик. И старика посадили в карцер, скованный крещенским морозом. А наутро, во время переключки, его труп, привязанный за ноги к повозке, как бревно, уволокли в таёжную глухомань...

Другой однобарачник, красавец Матвей Балыкин, сдержанно сносил лагерный режим и лишь ночами нашёптывал любимую песню: “Ой да, ты, полковник мой, отпусти домой. Отпусти домой, к отцу, матушке родной...” Когда доходило дело до драк с уголовниками, очертя голову защищал своих. Меркулов сдружился с донцом, мужественным и верующим, в неполные двадцать лет водившим сотню в атаки. “Коль не выживу, ты, Антон, бесперечь навести мать. Один я у ней. Доберись в Беломечётскую станицу. Передай: жив-крепок”.

В ростепельный вечер, когда роту гнали на ужин, какой-то курносый ездовой на виду у всех вытолкал из ворот конюшни пожилую заключённую и начал бить. Впоследствии выяснилось, что она набрала в пенал овса. Матвей выбежал из строя и кулаком вразумил служивого. Конвоиры кинулись на подмогу, стали долбить казака прикладами, пока не оттеснили за барак. Прощальный крик Матвея догнал колонну уже у двери столовой...

Однако умирали чаще невольники по дороге на устак или обратно, а то и на лесоповале: падали, где придётся, застывали в случайных, вычурных позах рядом с теми, кого завтра могла постичь такая же участь...

Непостижимо, но с годами страх смерти у Меркулова притушился. Да и другие лагерники, втягиваясь в неукоснительный режим, постепенно отвыкали от мирской жизни. Горбатиться от зари до зари, терпеть произвол и холод, зуботычины, задышаться в барачной вони и сырости, ходить под прицелами стрелков на вышках и ощущать себя бесправным и голодным рабом — это окаянство было лишено всякого смысла. Так человек, плывущий в море после кораблекрушения, в отчаянии сознаёт, что тело наливается свинцовой тяжестью, а берег по-прежнему далёк...

Однако каждый раз с приходом весны, с приближеньем Христова Воскресения в нём чудодейственно восставала жажда жизни. Вспоминалось, что срок заключения стал меньше, и в душе точно пробивался родничок, и вновь обретал он силы служить Господу...

— Не спишь, Антон Николаевич? — донёсся из темноты двора голос хозяйки. В открытую дверь времяанки послышались неспешные шаги. Просто-волосая, в холщовой ночной рубашке, она отодвинула занавеску и заглянула в дверь. — За книгой? Чтой-то и мне не до сна...

Меркулов, сидевший за столом перед керосинкой, обернулся, глянул поверх очков. В домике пахло припалённой тетрадной обложкой, надетой на стекло в форме абажура.

— Читаю Откровение Иоанна Богослова. Какая вы умница, что сберегли Библию.

— А когда церкву рушили, забрала... Ты скажи, с чем полицией приходил?

— Велел явиться в правление.

— Выслуживается, гад! Выдал немцам людей... Убить его мало! Жалко Нору, какая с тобой работала. Придёт за козым молоком, — и всё балагурит... Да и муж у неё культурный, на скрипке пиликает... Значится, останешься счетоводом?

— Нет. Замену нашли.

— А на что жить?

— Как раз к слову... За моё проживание колхоз рассчитывался натуроплатой. А теперь... Можно я поживу в долг?

— Нашёл об чём... Помогаешь в хозяйстве, по дому. Истый хозяин.

А помирать буду — курень тебе подпишу.

— Спасибо великое, — улыбнулся постоялец и, немного помолчав, удивил неожиданным вопросом:

— Скажите, вы местная... Остались в станице верующие?

— Само собой. Мы, донские, — Богу преданные.

— А если откроют храм?

— Такому не быть. Фрицы хуже комиссаров.

— Нет, вы ответьте.

— Пожилые все чисто пойдут! — рассудила станичница. — Как без Богородицы и Спасителя? А молодежь... Те — не шибко. Главное, чтоб батюшка был видный, с бородой и малость пузатый. А то служил у нас один... Голосок — как бабий волосок... А надо, чтоб до души пронимал!

Лицо Меркулова, освещённое сбоку, тронула улыбка.

— Внешность имеет значение, но важнее всего — слово пастыря.

— Кабыть, так, — легко согласилась казачка. — Со святым отцом не плясать...

В дверь повеяло запахами настурции и белого табака. Не смолкал в палисаде хор сверчков, заглушаемый иногда переплеском листьев. В отдалении, в кавказской стороне улавливались отголоски то ли грозы, то ли канонады.

— Пелагея Никитична, хочу повиниться, — решительно обратился Меркулов. — Вы не знаете об этом... Давно, в молодые годы, сподобил Господь меня тайне священства. Служил недолго в храме, потом полковым священником.

В ночной тишине размеренно стучали ходики. Хозяйка отёрла рукой сиденье табурета, как бы в замешательстве присела.

— Когда узнала, что Матвейюшки нет, ты мне стал навроде сына... — с укоризной проговорила она. — Вот, оказывается, откуда бралась свячёная вода...

— Простите меня! Грешен... Вы же знаете — был под надзором. Постоянно в милиции отмечался.

— А я подозревала. Как ни зайду в твою комнату, то за книгами, то у икон. Думаю себе: посты соблюдает, табака и водки чурается, блудом не антиресуется — неспроста...

— С Господом я не расставался никогда. Но в лагере, Пелагея Никитична, меня перемолотили, аки сноп. Постарел, оскудел плотью... И даже здесь, в станице, поддавался малодушному искушению. Бывало, проснусь среди ночи, встану у окна и прислушиваюсь: ветер калиткой стукнул или чекисты идут?... А теперь — ещё тяжелей... Трудно поверить: немцы собираются открыть храм. И Гарига потребовал, чтобы я принял приход.

Многое повидавшая в жизни пожилая казачка свела брови, задумалась. Она хорошо помнила последние годы, ломавшие до корней казачью жизнь, щедрые на кровь, преобразования и посулы народного счастья.

— Храм на горе, как солнышко. А зараз — бесовская пора! — проговорила она с расстановкой, взглянув на постояльца. — Только ты не верь немчуре проклятой. Это они туману нагоняют, выколашиваются, к старине пихают. Пустили слух, а до дела — нескоро, — и, спохватившись, пояснила. — Я не отговариваю. Не подумай... Вот только что будет, когда немцев выбьют? Тебя же “врагом народа” обзовут...

Меркулов перекрестился, ответил словами из Библии:

— “Положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать”. Всё в руках Господних. И ежели призывает, я должен внять. Но прежде мне нужно подготовиться, обрести “силу в деле и слове пред Богом и всем народом”.

Во времянке затянулось безмолвие. Меркулов сидел за столом, сторбившись, сценив ладони. Прогоревший фитиль чадил. Порывистей и громче шумел сад. Несколько раз проблеснули зарницы.

— Может, пошлёт Господь дождичка. Земля аж звенит... — посетовала Пелагея Никитична и вспомнила. — Коли храм открывать, то надобно его освятить?

— Непременно. А для этого, прежде всего, требуется антиминос.

— Знаю. Плат с Ликом Христа, какой в алтаре.

— С ним пребывает сила Божья и Святой Дух. Он освящается архиереем.

— Когда отменяли церкву, ктитор многое забрал. Он помер, а бабка Фрося на ногах... Хлопот будет много! Вам же и облачение положено! И теперича... Как подобает именовать вас?

— Как и прежде. А рукоположен отцом Антонием, — ответил Меркулов, удивившись, что хозяйка стала обращаться к нему на “вы”.

— Отец Антоний... — повторила казачка. — Жаль, с тканями туго. У соседки Махоры, помнится, есть платье черное, сатиновое. Росту вы с ней ровные. А я перешью... Ничего, поднимем народ. Одного не оставим! — обнадёжила хозяйка и скрылась за летучей тюлевой занавеской.

Надев очки, Меркулов вновь попробовал читать. Но глаза стали слезиться от усталости. Он закрыл Библию и, не выпуская её из рук, прилёг на кровать.

То ли от прикосновения Священной книги, то ли от душевного тепла казачки лагерная мгла, застывшая воспоминания, исподволь рассеялась...

4

Он родился и вырос в семье учителя гимназии, в той особой разночинской среде, которая на рубеже двух столетий воспитывала патриотов-вольнодумцев с православной душой.

Родители снимали дом в центре Ставрополя, близ Казанского кафедрального собора, и придерживались строгих религиозных правил. В дни праздников и по воскресеньям вся семья отставала службу и причащалась. Антон, внук войскового священника по материнской линии, павшего на Шипке, рано усвоил молитвы и песнопения. Своё будущее он связывал с литературой, мечтая стать таким же знаменитым писателем, как живущий по соседству Илья Сургучёв. Его рассказы печатались в столице, а пьесы ставились в театрах. Встречая на Николаевском бульваре кумира, всегда одетого франтом, Антон ощущал, как замирала душа: вот избранник богов! А начинал здесь, в губернском городе...

Последний выпускной экзамен в гимназии, выдержанный на “отлично”, и величайшая в жизни трагедия — гибель отца — роковым образом совместились в один день. И тем ужасней была эта утрата, что произошла на его глазах. Вдвоём с отцом поднимались они по улочке, усыпанной крупным гравием, а навстречу, стоя во весь рост, мчался на пролётке выжига в красной рубахе, лохматый, с оплывшим лицом. Он стегал нагайкой вороных и по-пыаному что-то горланил. И когда экипаж поравнялся с ними, вылетевший из-под колеса булыжник ударил отца в голову...

Ночью, накануне похорон, у гроба отца испытал он неизъяснимый трепет. То, что таилось в душе подспудно, вдруг открылось с поразительной ясностью. Всего себя он должен отдать служению Господу, Его вере. Только это даст силы жить без отца. А приобщаясь к Дарам Господним, он вымолит упокоение его душе, спасение душ ближних...

В семинарии Антон учился самозабвенно, а бескорытием снискал расположение святых отцов и товарищей. Мать, Наталья Михайловна, оставшаяся без всяких средств, сошлась с вдовым купцом Асмаркиным. Это не помешало относиться к матушке и сестрёнке с прежним обожанием и дорожить каждой минутой, проведённой вместе.

Мария Волобуева, дочь мельника, стала для него избранницей. Знали они друг друга с детства. Но только будучи семинаристом, решился он назначить ей первое свидание. И в безоглядной влюблённости потерял голову. Всё восхищало его в девушке: и хрупкая фигура, и волнистые светло-русые волосы, и наряды, и неизменное добродушное настроение. После гимназии

Маша училась на курсах сестёр милосердия и готовилась отправиться в Галицию или Польшу, где сражалась императорская армия. Однако на Покров, на канун большевистского переворота, состоялась свадьба. Вскоре Антон был рукоположён в диаконы, и она с улыбкой стала величать себя “диаконицей Марией”.

Следующий год, одна тысяча девятьсот восемнадцатый, выдался в Ставрополе многослёзным и несравнимо жестоким. “Красные товарищи” грабили, насиловали и убивали любого, кого причисляли к буржуям или контре, — от гимназистов и священников до дряхлых генералов. Под руку налётчиков попала и чета Асмариных. Ограбив, расстреляли их в собственном дворе. А двенадцатилетняя Тосенька, крик которой слышали соседи, бесследно пропала. В отпевании собственной матушки участвовал и он, диакон Антоний...

В те дни, потерявши родных, мучимый сновидениями (уродцы пробегали по комнате в озарении свеч, то в образе лешего с пустыми глазницами, то в виде чёртика, то оборачиваясь двуглавым мужиком в красной рубаше), потрясённый разгулом террора, он наложил на себя епитимью. И благодаря многочасовому молитвенному труду, терпению жены и милости Божьей смог утвердиться духом. Предназначение его в юдоли земной — служение Богу. В открытом бою, как дед с османами, биться с воинством Антихриста. И пройдя хиротонию, будучи поставленным в священство, он по-своему понял послание патриарха Тихона с анафемствованием большевиков: “Ныне же к вам, употребляющим власть на преследование ближних, истребление невинных, простираем мы наши слова утешения: обратитесь не к разрушению, а к устройению порядка и законности, дайте народу желанный и заслуженный им отдых от междоусобной брани. А иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами пролитая, и от меча погибните сами вы, взявшие меч”.

Вскоре в Ставрополь вступила Добровольческая армия. Город уже несколько раз переходил из рук в руки, и “кадеты” в отместку большевикам провели свои репрессии, а товарища Ашихина, начальника городского гарнизона, вздёрнули на виселице. Эти казни также ранили его душу! И вот однажды Маша заговорила о том, что преступно, ничем не жертвуя, взирать на гибель России, на разгул “красных варваров”. В добровольческих войсках, как читала в газете, нехватка медицинского персонала...

Жизненным рубежом для них стал Южно-Русский Собор. Отцу Антонию пришлось участвовать в его подготовке. Несмотря на споры иерархов, в Ставрополе было создано Управление епархий, освобождённых от большевиков. Поддерживая соборное обращение, Деникин издал приказы об амнистии пленных красновардейцев и восстановлении должности полковых священников.

На аудиенции у митрополита Агафодора он, молодой священник, испросил позволения служить в Христолюбивом войске. Пастырь, иссушенный немощью, был немногословен.

— Патриарх Тихон взывает к прекращению распри. Он не даёт благословения генералам Белой гвардии, ибо они также чинят беззаконие. Полковой священник Божьей волей приставляется унимать жестокосердие. Сказано Иоанном Богословом: “Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладези бездны”. По воле, подаром коронованы большевики “звездой”... Внемли гласу Божьему. Стань поводом-рем заблудших. А моё благословение — с тобой...

Священника-добровольца и его матушку, сестру милосердия, зачислили в пехотную дивизию. С первых дней привелось вдосталь хлебнуть фронтового лиха. Вблизи какой-то воронежской деревеньки красные, внезапно ударив во фланг, смяли позиции деникинцев. Из-за нехватки солдат свирепый поручик приказал отцу Антонию подносить снаряды к орудию, а затем заменить заряжающего. Артобстрел остановил наступление красных, позволив эвакуировать лазарет. Случилось это столь поспешно, что отцу Антонию не удалось даже проститься с беременной женой. А на следующий день дошла весть, что санитарный обоз перехватили латышские стрелки. Тяжелораненых расстреляли на месте, а прочих угнали в плен. Между тем бои становились кровопролитней, и полковому батюшке приходилось поневоле толкать снаряды в жерло раскалившейся трёхдюймовки...

Ранение в плечо оторвало его от фронта. Повезло в одном: на ноги встал он ещё до бегства Добровольческой армии к Чёрному морю. Поскитавшись по Абхазии, поселился в Пятигорске, надеясь устроиться в Бештаугорский монастырь трудником. Но святая обитель была переполнена, и настоятель отказал ему.

За неимением пристанища и службы ничего не осталось, как идти до конца. У подножья Машука, в Свято-Лазаревском храме он исповедался пред епископом Иовом, только что вернувшимся в край предков — терских казаков. Владыка, осанистый, длиннородый, помрачнел и, вероятно, хотел отлучить от священства. Но что-то остановило мудреца. Быть может, покаянная боль и чистосердечие батюшки, ради веры Христовой не жалевшего себя.

Епископ отпустил ему прегрешения и наставил:

— Тяжелейшие времена пришли на Русь. Не только безбожники, но “живоцерковники”, еретики в рясах, аки саранча, нагрянули в храмы православные. Бился я с этими отщепенцами в Саратове, ограждая от проникновения их в епархию. Настаивал на автокефалии. Но лукавый хитёр и вездесущ...

Отец Антоний надеялся, что получит место в одной из церквей Пятигорского викариатства. Но к середине двадцатых на Кавказских Минеральных Водах многие приходы были захвачены именно “обновленцами”. А храмы окрест продолжали закрывать, атеистическая травля разгоралась.

Тем временем чекисты вылавливали белогвардейцев, скопившихся на юге. Суд вершили лихо, расстреливали “пачками”. Фальшивым удостоверением на имя “Василия Зубкова”, тульского пролетария, Меркулова снабдили ещё в полковом штате, и теперь этот “документ” помог ему спастись и трудоустроиться. Без труда освоив управление трамваем, он стал вагоновожатым. Подстриженный под полубокс, без бороды и усов, с крепким развалом плеч, “Василий” выглядел подлинным комсомольцем. Звание “Ударник пятилетки” поспособствовало в получении отдельной комнаты. Дождавшись отпуска, он тайком навестил в Ставрополе могилы родителей. Попытался через третьих лиц разузнать о судьбе жены, но ничего выяснить не удалось.

Господь даровал ему покой на целых четыре года. Каждое утро, за исключением выходных, дальний пеший путь приводил в депо, где работали люди мастеровые и несуетные. Затем весь день он курсировал от железнодорожного вокзала до Провала. А вечерами, убрав трамвай в тупичок, шагал обратной дорогой. Хотя на работе и были приятели, он чурался компаний. Комсорг убеждал его вступить в ряды “коммунистической смены”, но “Василий” отговаривался недостаточной подготовленностью.

В его квартире благоухали лилии, заливался кенар, барствовал рыжий кот по кличке Туз, приученный подавать лапку. А по утрам на стене, пронизав тьоль занавески, адели кружевные лучи. Свистел чайник, и шумела на кухне вода, ухали напольные часы, подаренные соседом, объединяя чудесным образом все предметы и придавая комнате уют. Это отшельничество помогало общению с Господом. Он приобрёл по объявлениям несколько старинных икон. И читал пред ними Евангелие, и молился, и даже в полном объёме проводил службы. А если выходной выпадал на воскресенье, то отстаивал в храме литургию и причащался. В благой отстранённости пребывал он часами пред алтарем. Внимая песнопениям, как сладко замирала душа в сиянии свеч и лампад! Родство со всем, причастным к Господу, ощущалось Меркуловым ещё глубже. И уходил он из приотвора с надеждой, что вернётся на стезю священства...

Но вот кондуктором за его трамваем закрепили комсомолку Зинаиду. Плечистая девица считала себя неотразимой и без конца заигрывала с парнями. Больше месяца обласкивала улыбочками неженатого “Васеньку”, угощала пирожками с печёной тыквой. А затем, узнав адрес, первомайским вечером заявила в гости. Он предложил ей чаю, но Зинаида, вдруг увидев на стене иконостас, а на божнице — стопу старинных церковных книг, с досадой поняла, что расчёт на замужество рухнул. Что-то невятное буркнув в ответ, принаряженная краля обиженно ретировалась.

И вскоре на её радость подвернулся случай. Обнаружив за водительским сидением образок Богородицы, она настрочила в ОГПУ жалобу, что “вагоновожатый Зубков кажин день молится на маршруте, заставляет её и пассажиров креститься и ругает товарища Сталина, а дома открыл поновский пункт”.

Заявление кондукторши и свидетельство “сексота”, видевшего в городе белогвардейского попа, побудили следователя устроить очную ставку. Осведомитель с первого взгляда опознал священника. У Меркулова не осталось выбора, как во всём сознаться.

Он понимал, что вероятен расстрел. На суд шёл, полагаясь на волю Божию, читая мысленно девяностый псалом. Однако “тройка”, известная суровым отношением к служителям “культа”, на сей раз вдруг явила слабинку, приговорив Меркулова к семилетнему “перевоспитанию” в исправительно-трудовом лагере...

5

Ещё с юности досаждал Сёмка родителям норовом и ленью, и потому Мина Фомич, женив наследника, сразу же отделил. Просторную хату поставил ему напротив своих виноградников, насаженных по левобережью Мечётки. Да и жену, благодаря свахе, подобрал работающую и видную. Но поначалу семья показалась Семёну обузой. И до самого призыва в царскую армию круглый год болтался он по окрестностям с бельгийской двустволкой, выпрошенной у отца. И надо признать, настрелял руку настолько, что на лету шибал стрижа. А вся помощь его в большом хозяйстве заключалась в том, что осенью, когда вызревал виноград, сторожил по ночам плантацию, постреливая для острастки по звёздам. И никто из станичников не позарился даже на гроздь, помня, что Сёмка с придурью, и укокошит, не задумываясь...

И поныне обитал Гарига в своей саманной хате, ошелёванной тесом. Усадьба полого клонилась к реке. В камышах прорубил Семён Минич прогалину, соорудил дощатые мостки, с которых удобно и воды зачерпнуть, и вершу забросить. Поливной огород вырубал ежегодно. Хватало до весны и картошки, и огородной всячины. Выше по скату тянулся яблоневый сад. Хозяин стерёг его, как зеницу ока и, чтобы отвадить воров, летом переводил туда со двора волкодава, сажая на длинную цепь. А сам спал в сеннике, приготовив ружьё и кнут.

Яблонь в саду собралось десятка два, и каждая — на особицу. Кроме обрезки ветвей, уход за ними Гарига возложил на дочь Любку. Станичники знали о причуде конюха ездить по сёлам и ярмаркам в поисках саженцев редкого сорта. Поговаривали, хотя в это мало верилось, что при удаче он не скупился, тешил свой обычай...

Так мало-помалу на берегу скате, открытом солнцу, прижились гости с ближних и дальних мест. С мая и до Покрова сад был овеян нежнейшими ароматами. Первыми подходили белый налив и мельба. В канун Спаса — донешта и бельфлёр-китайка, дивя плодами сочными и сладкими. И Семён Минич развозил их участковому милиционеру и фининспектору Гулому. Эта дань помогала избегать штрафов за надомную торговлю. Впрочем, для отвода глаз вывозил Гарига свой урожай и на базар.

Лучшие яблоки вызревали в сентябре. Всё подворье наполнялось тогда запахами ранета, апорта и антоновки. Семён Минич чаще обычного подворачивал лошадей домой и, бредя вдоль рядов, с видом полководца оглядывал деревья. Будто на рождественском карнавале, висели на ветках разноцветные шары. Одни были зеленовато-жёлтые, другие — в тёмно-вишнёвых накрапах, третьи — с густым краснобрызгом, четвёртые — как слитки золота...

— Эх, недаром Ева спокусыла Адама яблоком! Яблуня, вона... — задыхался Гарига от накатившего волнения. — Вона — царица садов в свити!

И затаивался, прислушиваясь. И, казалось, подсохшие деревья соглашались, и в ответ шелестели листвою...

Только вечерами отпускал сам хозяин. А днём торговала Люба, увечная и окривевшая на левый глаз. Её руки, источающие медвяный дух, проворно укладывали плоды в ведро, дужку которого она вздевала на крюк безмена.

— Ого! — кривился прижимистый станичник, услышав цену.

— Я вам добавлю, — отзывалась девушка и опрокидывала в мешок ещё полведра. — Вы только отцу не сказывайте.

Покупатели дружески относились к Любаше, перешучивались, и она, который год мыкавшая одиночество, ответно оживлялась. Но стоило кому-то намекнуть, что пора завести мил-дружка для утех, хмурилась и уходила в дом...

До девятнадцати лет не было ей в округе соперницы. И статью, и красотой, и певучим голосом выдалась козырь-девка в материнскую казачью породу. Родительница, также отличаясь пригожестью, была при этом своенравна, под стать Семёну. Пока хватало сил, давала ему сдачи. А когда заиндевели до времени тёмные вьющиеся волосы, враз надломилась здоровьем. После очередной стычки слегла, стала таять на глазах. И уже через месяц склонялся Семён Минич над её гробом, бормоча, однако, не слова раскаянья, а упрёки за то, что бросила их с дочкой на произвол судьбины и некому теперь “буду борща сварить”...

Это горе не помешало после сороковин привезти из Сальска молодайку Елизавету. И она была казачкой, да иного замеса. Хлопот по дому и ухода за скотиной чуралась, всё больше белила лицо, сурьмила брови и разезжала с новым сожителем по кумовьям и родне. Смекнув, что связался с бездельницей, Семён Минич попробовал было её поколотить, да обжётся. Неделю ездил, отворачиваясь от встречных, с подбитым глазом. Гулёна быстро сообразила, что не уживётся с постылым хрычом. И после упорных поисков найдя тайник с деньгами и золотыми царскими червонцами, в тот же день как будто уехала к матери — и прахом пропала! Гарига, обнаружив воровство, неделю разыскивал беглянку, колеся по селам и станицам. Вгорячах решил заявить в милицию. Но в последний момент одумался. А если спросят, откуда накопление? И есть ли документы? Нет, уж лучше не лезть на рожон...

Отвлекли только свадебные хлопоты. Засватали Любашу в соседний хутор, хотя надеялся, что выберет она себе пару из станичных. Пригласулся ей тракторист Петро, весельчак и балагур. Свадьбу стоворились играть в ноябре. Не на тройке, а на тракторе СТЗ пожаловал парень за невестой. Его встретила у ворот комсомольская ватага. После речи секретаря о “новой ячейке социалистического общества”, молодые направились в загс.

Накануне трое суток кряду лил дождь. Но “железный конь” ходко бороздил суглинистую дорогу. Бревенчатый мост на краю станицы был в стоячих лужах, по нему радостный молодожён уже переезжал сегодня. А в этот полуденный час Петька то и дело поглядывал на свою красавицу, не ведая, что при первом въезде сорвал брус настила. Разгоняя тяжёлую машину, парень прибавил газу, и в тот же миг её повело в сторону. Трактор, натужно ревя, сорвался с пятиметровой высоты на каменистый уступ...

Петро умер перед вечером. А Любаша, в бинтах и гипсе, пролежала в районной амбулатории до самого марта. Домой забирал её отец весенним оттепельным деньком. На дно фурманки, как рекомендовал врач, Гарига поместил щит, застланный рядном. На него и переложили с носилок пострадавшую. Тронулись к дому крайней улочкой. Оба молчали после первых минут оживлённого при погрузке разговора. И вдруг Любаша запричитала:

— И чего я не убилась сразу?! Кому я теперь, одноглазая, нужна?!

Семён Минич натянул вожжи и обернулся, не скрывая влажневших глаз.

— Ты — моя дочка, а я — твой отец. И ты даже не сокрушайся. До всех дохтуров дойду, а поставлю на ноги!

И слова эти, на общее удивленье, Гарига сдержал. Не считаясь с расходами, на поезде повёз дочку в Ставрополь, к хирургу Макарову, слава о котором разнеслась по южному краю. В день операции пытался Семён Минич даже вспоминать молитвы. Но душа как оледенела: в Бога верилось и... не верилось.

...На исходе ночи, сморенный бессонницей, Меркулов забылся.

И увидел вдруг за окном небывало ясный свет. Смятение охватило душу, и поспешил он во двор в предчувствии чего-то важного.

Подле крыльца стоял старец в хламиде, с котомкой за спиной. Меркулов узнал преподобного Серафима, ибо схожесть с иконным ликом была несомненной. “Ты, сыне мой, молитвенно обращался ко мне, — возгласил Святой. — Помышленья твои праведны. Но дух мятежен, и вина пред Господом не искуплена. Ведаю, ждёшь ты благословения на стезю мученичества. Засим, раб Божий, удались от мира и, пребывая в молитвах, постись до часу, когда снизойдёт Благодать”. — “Отче Серафим, — вымолвил Меркулов взволнованно. — Чужеземцы захватили страну. Зло пуще прежнего воцарилось окрест. Смогу ли я?” — “Сказано: вера без дел бесплодна есть. В Царство Небесное увидит исполняющий волю Отца Его. Иди и служи Господу...”

Неизреченный бирюзовый свет стал меркнуть, воздух пред глазами задрожал, точно во дворе рассеялось водяное облачко. Следом ударил отдалённый гром...

Меркулов проснулся и ощутил в руках Библию. Учащённо билось сердце. “Всё в воле Твоей, Господи! Ты призываешь меня в храм. Я вял, Отче! А когда призвуют меня на судилище земное, — отвечу, ибо превыше всего Твой суд...”

Он встал и, поцеловав Писание, возложил на божницу. Светало. Переключка громов становилась громче. И, казалось, гулом отзывалась ей изнурённая засухой степь. Необоримое желание пойти к храму крепло поминутно...

Навстречу ему по светлеющей улице понеслись вихри, кружа жухлую листву и слепя пылью. В окнах домов — ни огонька. Дворы ещё безлюдно молчали. Лишь у реки, где жил Гарига, вспыхивали петушиные запевки.

Дорога привела его к майдану, на возвышенном краю которого в проблесках молний то возникал, то исчезал храм. И прежде стесняло грудь при виде этого порушенного строения, а сейчас, в грозовых сполохах, церковь выглядела особенно сиротливо. Многие десятилетия проводились в ней литургии и молебны, а на площади казаки выбирали атаманов, давали присягу, и всякий раз освящалась станичная сотня, уходившая на войну. И с именем Господа покрывали донцы свои знамена славы, служа царю и Отечеству...

Молнии жгли всё ближе. И вслед за моросеем, с нарастающим шумом грянул ливень. Меркулов, охваченный смятением, вскинул руки:

— Господи, наставь меня на путь истины Твоей! Дай, Господи, моему недостойнству благодать разумения, чтобы распознавать приятное для Тебя, а для меня полезное...

Он вмиг вымок до нитки. Но терпеливо подставлял лицо хлёткой водичке, кричал и смеялся, всем существом отдаваясь этому желанному и спасительному омовению в небесном Иордане. От ударов грома закладывало уши, но он стоял с поднятой головой и трижды повторил: “Сокровище благих и Подателю истины, приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша”. И ощутил, как сила входит в его сердце...

Гроза откочевала в заречье. Над площадью лишь изредка просеивались капельки да мелькали отсветы зарниц. А взгляд Меркулова был устремлён ввысь, где не прекращалось небесное таинство: тучи, прошитые первыми лучами, то наслаивались, ступаясь, то распадались на витые космы, а то и вовсе разбегались, открывая небосвод. Невиданное доселе зрелище: синевато-серые, белёсые, фиолетовые облака, окантованные оранжевой полосой, аспидная мгла в степной дали, куда удалялся грозовой фронт, — вся панорама неба завораживала. Невольно вспомнив жития святых, он воспринял это светозарное диво как знамение...

Было уже светло, когда на площадь со стороны околицы вылетел верхоконный — чёрный на фоне алеющего востока. Он развернул каурюю кобылицу и пустил напрямик к замеченному человеку. Издали, поднимая руку с нагайкой, угрожающе крикнул:

— Кто такой? Пропуск!

И, не дожидавшись ответа, с разгону грудью лошади сбил нарушителя комендантского часа.

Меркулов спиной прокатился по раскисшей дороге. Следом ожёг его удар нагайки. У самой головы замерла заляпанная грязью лошадиная нога. Опахнуло резким духом мокрой шерсти. Он с трудом поднялся, ощущая боль в ноге.

В чёрной кубанке и винцерде*, с карабином за спиной, Касторнов склонился к лошади, грубо спросил:

— Никак счетовод? Откуда взялся?

— Я к храму пришёл. Буду в нём служить.

— А комендантский час?!

Толстогобый, с широко посаженными глазами, молодой полицай, вероятно, что-то вспомнил и ухмыльнулся. Тронув лошадь, бросил через плечо:

— Какой из тебя поп?.. Так... Таблица умножения!

То ли испугавшись какого-то зверька, то ли из норова кобылица взвилась на дыбы, затем взбрыкнула и понеслась на кусты шиповника у обочины. Заваливаясь назад и натянув удила, полицай пытался её осадить, но удержать ли в запале донскую лошадь? Мощно оттолкнувшись задними ногами, она послала корпус вперёд, взвилась над сплетеньем веток в алых ягодах. Высокий полёт её был недолог, но это не спасло наездника. Он рухнул в гущину кустарника, закалившего колочки на горячих ветрах. Ядрёный мат далеко огласил околицу...

Станица наполнилась утренними хлопотами. Бестолково метался сырой, прохладный ветерок. На деревьях поблёскивали хрусталинки капель. Почти в каждом дворе пластался духовитый кизячный дым — хозяйки до выхода на работу спешили со стряпней.

Жизнь в Граде земном шла своим чередом...

7

Жаркое утро вышло лужицы. Ветер с юга спекал на дорожной колее комья, дубил поблекшие травы. Полднем направляясь в правление, Меркулов замечал на себе оценивающие взгляды станичников: то приветливые, то насмешливые, а то и откровенно враждебные. Весть об открытии храма наверняка разнеслась по дворам.

Две недели, пока длилось немецкое наступление, в правлении колхоза дислоцировался штаб танковой дивизии. И теперь повсюду угадывались следы пребывания оккупантов. Штакетник со стороны улицы был сплошь повален, а кое-где измолот гусеницами в щепу. Цветник, проутюженный гусеницами, напомнил вспаханную делянку: земля смешалась с обломками кирпича, с лепестками ноготков и разноцветок. Лишь у крыльца клумба осталась нетронутой: розы белели скрутками соцветий.

В коридоре Меркулов встретил Полину. Худенькая, с выпирающими из-под кремового платья ключицами, девушка шагнула навстречу. На её засеянном веснушками лице проблеснула улыбка.

— Здравствуйте, Антон Николаевич! Мне приказали вас дожидаться.

В бухгалтерии, где недавно вымыли полы, стоял характерный затхлый запах. Со столов исчезли счёты, а со стен — портреты вождей. Большой сейф распахнуто зиял. На полках шкафов — ни папок, ни подшивок документов. Самые ценные увезены в эвакуацию. А прочие сожжены по приказу оперуполномоченного НКВД.

Меркулов по привычке выдвинул верхний ящик стола. Но вместо нарукавников обнаружил огрызки яблок, грязный носовой платок и пустую консервную банку с надписью “Schweinefleisch”. Видимо, танкисты подкрепляли боевой дух свиным мясом.

— Вас спрашивала Наталья, — сообщила девушка, открывая на столе свою потёртую балетку. — А я захватила копии. Может, пригодятся?

— Побудь здесь...

Меркулов, осторожно ступая на ушибленную ногу, двинулся в приёмную. Оттуда в распахнутую дверь доносились голоса.

— Я знала, что он поп, — короткими очередями выдавала секретарша. — Пожилой, а ни детей, ни плетей. На митинги не ходил. Сидел в бухгалтерии под портретом Калинина, а теперь...

* Винцерда (южн. диал.) — казачий плащ.

— Человек он неплохой, — вступилась уборщица Акимовна. — Ко всем с уважением. Школьников в кружке... этим... шахматам обучал. А раз должность батюшки дали, значит, знающий.

— Кино, да и только, — хихикнула Наталья. — Идёт война. Надо выживать. А религия — опиум... — и вдруг, увидев входящего Меркулова, осеклась. — Вы пришли, Антон Николаич?

Непрощеный холодок кольнул сердце при виде барышни, восседавшей на прежнем месте, в привычном синем платье с горошинами. Будто ничего в мире не произошло! И тени переживаний не было на её пухлощёком личике. Напротив, она с особым старанием завила русые волосы, чтобы понравиться новому начальнику.

— Минуточку, — чиркнула Наталья и, отстучав на печатной машинке фразу, вскочила: — Я доложу управляющему.

Секретарша выпорхнула из бывшего председательского кабинета, оставив дверь открытой. Разорённая комната, без шкафов, полок и ковровой дорожки, точно раздалась ввысь. Оттого, наверное, бритоголовый мужчина в пенсне, очень похожий на наркома Берия, показался приземистым. А тот, услышав фамилию вошедшего, в свою очередь, с любопытством оглядел посетителя в бежевом чесучовом костюме.

— Казачий есаул Чунихин. Рад познакомиться. Присаживайтесь. Надеюсь, мы с вами сможем наладить работу, вывести людей в поле, а в дальнейшем восстановим казачий уклад.

Меркулов, положив руки на спинку стула, стоял в полный рост. Слова немецкого назначенца озадачили его.

— Видимо, вас не предупредили. В станице...

— Да, я в курсе, — подхватил управляющий. — Бог вечен, а мир переходящ. Сначала займёмся земным. Уберём и свезём в амбары выращенное, чтобы станичники не окопели с голоду! — двойник Берия двумя пальцами поправил пенсне. — Не стану скрывать, я не дока в хозяйственных делах. По корневой профессии — воин. Атаман Павлов представил меня, как сослуживца, оккупационным властям. У нас с ним одна цель — возрождение донского казачества. И, находясь в гуще жизни, всячески способствовать этому. Уважаемый Антон Николаевич, поработайте главбухом хотя бы месяца три. А я, как христианин, буду вам содействовать.

— Я не имею высшего образования. Учёт вёл только по полеводству. А отныне хочу посвятить жизнь Господу.

— Понимаю. А вот немцы... За отказ работать на рейх могут и... расстрелять, — глянул поверх пенсне поборник казачества и сжал ладонь, распластанную на синем сукне столешницы. — Им нужны хлеб и мясо для армейских кухонь, а не молитвы и духовное единение русского народа. Для них Православие — присноблаженная чушь.

— Вы богохульствуете, а назвались христианином.

— Прости, Господи! Но и вы поймите... В станице должен быть хозяин, который позаботится о соплеменниках.

Меркулову этот человек показался... знакомым. Наверняка он где-то видел его.

— Я объехал угодя, — с пафосом продолжал Чунихин. — Не убраны два клена яровой пшеницы, поля подсолнечника и кукурузы. Сколько это в гектарах — не знаю. Лобогрейки и молотилки повреждены. Если не отремонтируем, придётся косить вручную. А непогода — на расстоянии выстрела... В конце концов, вы можете совмещать работу со службой в храме.

— Это невозможно. Урожай всё равно присвоят немцы.

— План по заготовкам, да, установлен. Фельдкомендант требует выполнения. Но часть урожая мы могли бы оставить себе... Главное, не количество денег, а то, как их посчитаешь, — пошутил Чунихин, тая во взгляде нечто двусмысленное. — Мне нужен финансовый отчёт за полгода!

— Документы, за исключением копий... — Меркулов умолк, обнаружив на тумбочке портрет Гитлера.

— Что вас покорило? — мгновенно среагировал есаул и обернулся. — А-а... Фото? Оно не стреляет... Времена меняются, а людям нужна пища.

Сегодня одни в седле, завтра — другие. Для меня святая святых — благо народа. Мы не должны бросить братьев и сестёр Тихого Дона на произвол судьбы.

Чунихин в раздумье наморщил лоб.

— Допустим, я найду специалистов. Наберу, так сказать, для сотни вахмистров. А дальше?

— Деятельность колхоза, прежде всего, определяется производственным планом. Он составляется по типовой форме. Также обязательна денежная приходно-расходная смета. А учёт при уборке зерновых ведётся по “Записным книжкам бригадиров”, в которых зафиксирована деятельность колхозников, — начал подробно объяснять Меркулов. — Порядок учёта и документы, оформляющие оприходование урожая, различны... Впрочем... МТС ликвидирована, и комбайнов нет.

— Антон Николаевич, голубчик, подготовьте баланс хотя бы по аграрному сектору. В райзо* вообще нет документов по нашему хозяйству.

— Бухгалтерия требует точных цифр, а не фантазий... Я попытаюсь сделать всё, что возможно.

— Явите милость. Это нужно для народа. Когда будет создано атаманское правление, оно примет активнейшее участие в жизни прихода, — Чунихин обогнул стол, поскрипывая новыми хромовыми сапогами. — Письменные принадлежности отменного немецкого качества — у Наташи. Кстати! Мы с вами уже встречались. Два года назад играли на ростовском турнире. Кажется, в миттельшпиле я пожертвовал ладью и получил “Матильду”. У вас есть шахматистки? Можно вечером подвигать.

— К сожалению, не имею возможности, — сухо отказал Меркулов и удалился в приёмную, не принимая протянутой к нему ладони.

Только на другой день, пользуясь дубликатами ведомостей и сводок, сохранившимися у Полины, толковой помощницы, удалось частично восстановить полугодовой баланс. Перед вечером в правление прибежал босоногий сорванец. Заглянув в бухгалтерию, скороговоркой выпалил, что “батюшку в церковь кличет дед Куприян, плотник”.

Меркулов попросил Полину передать отчёт управляющему, а сам засобирался. Полина со вздохом, покорно приняла от него связку ключей от сейфа и двери. Случайно внимание Меркулова привлек лист бумаги с распластанным немецким орлом на соседнем столе. Его занесла в бухгалтерию Наталья. Он взял его в руки. “Вдохновлённые призывом нашего атамана Краснова, мы, штаб Войска Донского, обращаем свой призывный клич к станциям Тихого Дона, Кубани и Терека. Слава Великой Германской Армии, слава светлейшему освободителю и вождю Европы — Адольфу Гитлеру... — скользнув взглядом ниже, он прочёл: — Прокричим казачьим “УРА” славу Германской Армии...”

— И я доверился этому лукавому лгуну, — не сдержавшись, вымолвил Меркулов.

Он с отвращением разорвал листовку на мелкие куски и выбросил в урну. Взяв со стола подготовленный документ и черновики, скрутил их в тугую жгут и положил в свой портфель.

— Передай... казачьему есаулу Чунихину, что ничего не вышло. А свои копии, пожалуйста, сожги.

— Я поняла, — кивнула Полина и смущённо спросила: — А мне в церковь можно? Я — крещеная, хотя и комсомолка.

— Церковь открыта для всех. Я буду рад увидеть тебя. Господь всеблаг. И ты это поймёшь...

8

Никто не знает определённо, кем сооружены на Дону первые православные храмы. Вероятней всего, возводились они повольниками, бежавшими сюда в конце XVI века с двинских и вятских земель после разгрома Великого

* Райзо — районный отдел земледелия.

Новгорода. Именно с приходом на Дон искусных плотников, издревле владевших этим мастерством, казаки обрели деревянные церкви, ставшие оплотом христианства. Северяне-ушкуйники строили часовни на свой манер: прямоугольный сруб-клеть, крытый двухскатной кровлей, украшала маковка с крестом. Соблюдалось деление внутреннего помещения на три части: алтарь, перед ним — мужичник, а в конце — бабник. Впоследствии московские цари и патриарх Никон поощряли строительство храмов в Черкасске, посылая деньги, грамоты и писанные лучшими богомазами иконы.

Донские часовенки, неброские каплички собирали православных вплоть до середины восемнадцатого века, когда взамен им, часто горевшим, войсковая канцелярия и местная епархия не взялись за возведение каменных церквей. Уже на новый лад ставились барочные храмы с портиками, колоннами, лестницами. Однако во второй половине XIX столетия донскому архиепископу Игнатию порекомендовал Синод ставить Божьи дома по упрощённым проектам и такой величины, чтобы прихожанам было по средствам содержать их.

Беломечётскую деревянную церковь на каменном фундаменте открыли в пору Кавказской войны, когда хутор разросся в станицу, благодаря отчуждению донскими помещиками крестьян и переселению их, наряду с казаками, на юг войсковой территории. Основали эту станицу, как ранее Егорлыкскую и Мечётинскую, с целью постоя русских войск, направлявшихся в Чечню и Дагестан или возвращавшихся после батальи.

Заново храм перестроили, обложив кирпичом, при “Николашке” (так честили донцы последнего царя). Лейб-гвардейцы по возвращении из столицы рассказывали о милостивом отношении царя к простолюдинам, однако это вызывало обратное действие. “Не ампирактор, а рохля. Косоглазому япошке укороту не дал! Рази ж способно ему огромной Расеей править? — сокрушались бородачи. — Как в сказке. Имелось у Степана три барана. Был он добряк, а попросту — дурак. Пас он их пас, да напился на Спас. Очнулся рано — ни одного барана. Стал ахать да горько плакать. Ему утирку бросил волк — на поле шерсти клоки... Так и туточки! Ох, не сбережёт Расею, выхватят из рук черти...” Между тем на пожертвования казаков и коннозаводчиков украшался иконостас и убранство храма. Во многом ход жизни в Беломечётской зависел от воли и слов священника и брал начало от Троицкой церкви.

Она была ладной, небольшой, о трёх куполах, крытых жостью. Крашенные охрой, маковки виднелись с разных концов станицы, благодаря тому что храм стоял на каменистом пригорке. В гражданскую не минули его святотатцы: банда матросов-анархистов “экспроприровала” дорогую утварь, а “товарищи” из пролетарской дивизии расстреляли священника, а затем — образа на иконостасе и загнали на постой кобылиц. Но и этого показалось мало. Отступая, они подожгли Царские врата. Прихожане вовремя сбили огонь...

С дороги Меркулов ещё раз осмотрел церковь, приспособленную комсомольцами под физкультурный зал. К Первомаю белёная мелом, выглядела она опрятно. Однако поржавевшая жестяная кровля нуждалась в покраске.

Он поднялся на паперть и вошёл в высокие двери, слыша размеренные удары. Вихрастый парнишка, забравшись на козлы, кувалдой сбивал настенный крюк, на котором болтался гимнастический канат. В воздухе слоилась пыль. На каменном полу валялись куски штукатурки. А у колонн, обозначающих центральный неф, лежали металлические опоры для волейбольной сетки и шведская стенка.

Увидев вошедшего, Витька опустил руку с кувалдой. Лицо его было припудрено меловой муницей. Даже брови белели, как у снеговика. Паренек поздоровался и солидно сообщил:

— Дед Куприян сомневаются, где щит под иконы ставить. Он домой уже ушёл — грыжа. А вы мне расскажите, я передам.

Меркулов указал границы алтаря. Пояснил, как нужно возвести амвон. Витька гвоздём нацарапал на полу метки и, не склонный к разговору, снова влез на свой высокий постамент.

— Уже темнеет, — сочувственно сказал Меркулов. — Может, довольно?

Парнишка по-взрослому рассудил:

— Надо ещё полупить, пока силы есть.

А дома Меркулова ожидали люди.

В глубине двора, кроме хозяйки и соседки Махоры, сидели на лавках и ступеньках крыльца ещё три старухи-казачки, молодая женщина в траурной косынке и дед Дюньдик, прозванный “Карасём”. Лица людей были задумчиво строги. С тех пор, как закрыли станичную церковь, никто из них не видывал священника.

Дюньдик, дюжий старик с ореолом седеньких волос на голове, заметив входящего в калитку Меркулова, взволнованно обратился:

— Благослови нас, батюшка.

Меркулов от неожиданности приостановился и осенил двор крестным знаменем.

— Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!

Женщины встали и подошли ближе. От изыятых из сундуков тирасок и оборчатых юбок припахивало нафталином и донником, отпугивающим моль.

— Мы к вам, Антон Николаич...

— Отец Антоний, — подсказала дородная баба Махора.

Тот зыркнул через плечо и поправился:

— Как вы без рясы, то растерялся... Правильно, отец Антоний... Ну вот... Прознали мы от Пелагеи. А полицаи дворы объезжали, приказали выходить на ремонт церкви. Вот мы и не стали дожидаться!

— Принесли три иконы, подсвечник, ручной крест и наперсный — серебрянные, две лампы, епитрахиль, — перечисляла Пелагея Никитична, за которой, видимо, с общего согласия закрепилось старшинство. — И у бабы Фроси много чего хранится. Я забрала подрясник. Чуток шашель побила, а так чистенький. А главное, антиминос нашёлся! Как завернули в холстину, так и пролежал нетронутый!

— Тут ишо одна напасть, — сокрушённо продолжал Дюньдик. — В том году наезжал в станицу бородатый говорун, собирал нас у Марцевой Анисьи. И наставлял богомольничать на новый лад. Дескать, старая вера Христова отменяется. И все верующие должны вступить в православные сицилисты. И псалмы петь под балалайку и тому подобную гармошку... Вот мы и интересуемся: какой вы компании? За старых али за новых?

— Это раскольники, обновленцы. Они несут в мир лукавство и ересь. Православие неразделимо и вечно, как Господь наш, Иисус. И я отношусь к тем, кто за это...

— Слава Богу! — тонкоголосо воскликнула бабуся, опиравшаяся на клюку. — Мы с Гавриловной в младости на клиросе завсегда стояли. Зараз, по ветхости, не всё помним. А подтянуть могём!

— Доразу зачисляй нас в хор церковный! — добавила сухая и смуглая, как цыганка, Гавриловна.

Третья старушонка с палочкой, прихрамывая, вышла вперёд всех.

— А я жертвую наволочку муки для просфор и кувшин винца, — объявила она, шамкая беззубым ртом. — И хочу первой за это причаститься!

Меркулов слушал, невольно улыбаясь. Пришествие людей, радеющих о храме, тронуло сердце.

— С вами благословение Божье! Господь явил милость, дав возможность восстановить в станице приход. В храме молитвенное слово обретает особую силу. Господь слышит и видит наши щедроты.

Женщины заговорили вперевивку.

— Всех верующих поднимем!

— Вы скажите Шершню — нехай мелом обеспечит, чтоб мы внутри побелили.

— Первым делом надо кресты на купола! Хоть деревянные...

— Я в школе убирала. Там в кабинете, где опыты, паникадило видала. Надо его забрать!

Но всех громче пробасил дед Дюньдик:

— Коль собрались мы у тебя, батюшка, то доже желаем, чтоб провёл ты с нами молебен! Одно горе вокруг...

Пелагея Никитична принесла Евангелие и крест, а затем старик поставил на припечек икону Спасителя в деревянном окладе. Вероятно, из храмового иконостаса.

— Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков! — начал Меркулов, устремив взгляд на Лик Христов, золотящийся под закатными лучами. Зарево пламенело за рекой, растекаясь по степному гребню. А само солнце, припавшее к земле, напоминало возжжённую лампаду.

Женский хор сбивчиво подхватил:

— Господи, помилуй!

Он трижды осенил богомольцев поднятым крестом и, сознавая, что совершается в жизни нечто необыкновенное и долгожданное и проникается душой теплом Божьей тайны, продолжил молебен.

Меркулов слышал свой голос как бы со стороны и не мог унять охватившего душу волнения.

— Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди ми! — прочитал он прокимен, беря Евангелие и готовясь читать его, и чутким слухом уловил вторящие голоса прихожан. Почувствовал сердцем, что люди следуют за его молитвенными словами и приняли как пастыря...

— Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимтися, услыши и помилуй... Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас!

А когда богомольцы стали подходить к кресту и он всматривался в лица, воочию заметил их благуую просветлённость, точно освободились от паутины...

9

Гарига подъехал к балькинскому подворью как раз в тот момент, когда хозяйка выгоняла козу пастись. Узнав, что постоялец уехал рыбалить, возмущённо спросил:

— А в якэ место? Где шукать?

— А я почём знаю? — в тон ему, грубовато отозвалась Пелагея Никитична. — Молебен он в этом самом дворе отслужил. Люди приносят образа, утварь. Я вчерась у храма была, его ремонтируют. Батюшке положено сил набраться, чтоб участь такую — священство принять... Его ж ветром качает. В чём душа держится. А тебе лишь бы... немцам пятки лизнуть.

— Ты, Пелагея, прижми язык! — обозлился Гарига. — А то плетюгов... Ишь, змея подколодная!

— Змея, а в своей шкуре. А ты в чьей? В кого превратился?

Семён Минич обложил чуму-бабу крепким словом и так стеганул вороного, впряжённого в двуколку, что на крупе вспух рубец. Гнев его был вызван тем, что фельдкомендант мог приехать в станицу, чтобы познакомиться с батюшкой. А попа и след простыл! И как он, старший полицейский, оправдается перед Кремером?

Снисходительность немца была Семёну Миничу на руку. Вместе с подручными он наворовал колхозного зерна, кукурузы, пригнал во двор тёлку. Кроме того, втихаря ограбил дома арестованных. Самое ценное причужил сам, а мелочовку пожаловал "коршунятам". Он ведь и в полицейские пошёл только затем, чтобы, служа немцам, обогатиться, попановать и поглумиться над теми, кто в грош его не ставил...

О способности Гариги находить спрятанное знали все в станице. Во время коллективизации он вместе с комсомольцами обходил дворы единоличников в поисках зерна. Точно колдун, останавливался посреди усадьбы, оглядывал её. И вдруг, ухмыльнувшись, начинал действовать: шёл к сараю, лез на чердак куреня, загонял свой металлический шуп в нарочито присыпанную мусором землю, раскидывал поленницу дров, — и на беду хозяина находил гарновку или ячмень, припасённый на зиму. А уж запугивать людей, когда нутром чуял поживу, настаивать на своём он умел, как никто другой: по-волчьи, тёмной злобой подавлял человека, лишал опоры, добивал...

Сейчас не давали ему покоя две задачи: как продать оставшиеся яблоки и где раздобыть для дочки новый глазной протез. До недавних дней Семён Минич не знал, что существуют особые линзы, точь-в-точь как человеческий глаз. Его Любаше после операции выдали вставной протез, научили, как пользоваться. Но когда дочка увидела себя в зеркале, то проревела двое суток и пользоваться вставной стекляшкой отказалась.

На вечеринке с “фройндами” Гарига заметил, что у фельдфебеля левый глаз двигается не так, как правый. Присмотревшись, нашёл между ними разницу и догадался, что к чему.

В комендатуре сошёлся он с переводчиком, черноволосям парнем, державшимся доброжелательно. Родом Стефан был с Западной Украины. Но когда обер-полицай, желая угодить ему, попытался общаться на родном языке, галичанин высокомерно оборвал:

— Не выношу, когда язык предков — нашу божественную мову! — коверкают скоты... Чтобы больше не слышал!

И задавшись целью помочь дочке, Семён Минич заговорил с переводчиком заискивающе и по возможности грамотно:

— Пан Стефан, у фельдфебеля фальшивое око. Такое же надо моей дочке. Окривела ненароком. А девка в самом соку... Расспросите, Христа ради, где он его достал? А я в долгу не останусь...

Но вскоре комендатуру немцы перевели в станицу Егорлыкскую, а полномочия передали станичному старосте. Гарига без промедления явился к нему, бывшему фининспектору Гулому.

— С должностью, Игнат Палыч! Дюже приятно мэни, що до такой величины досягнули! Ране вы заступались за мэнэ, як отец, а зараз я своих кровей не пожалею!

Гулый походил на бочонок: круглобокий, лицо небольшое, ушастое, а на самой макушке лысины — бородавка, напоминающая воробьиное яичко. Глазки спрятаны в складчатые веки и буравчиками — сверлят, сверлят...

— Ты эту песенку, Минич, брось, — отмахнулся староста. — Знаю тебя, пройдоху. Докладывай лучше о порядке в станице!

Гарига стал мямлить, перескакивать с одного на другое.

— Да... Косноязычен ты, братец. Так ума и не нажил... Придётся тебя заменить.

— Як... заменить? — растерялся Семён Минич.

— А чего от тебя ждэт? Чтоб партизаны мне башку открутили?

— До того не допустим! — запальчиво возразил Гарига. — Дённо и ночью в дозорах будэмо...

Гулый, пересыщая речь язвительными шуточками, долго читал нотацию, а в конце предупредил:

— Не лезь, куда не просят. Должен быть начеку. Спать с оружием! За безопасность в станице отвечаешь шкурой... А начнёшь бузить и своевольничать — выгону взащей!

Удручённым вышел Гарига из управы. “Эх, дурень, не отвиз ему яблчков. Вот вин и злует... Зараз заставлю Любашку, нехай мешок нарвёт. Он антоновку уважает... Грец с ним! Надо к немцам тулиться...”

И назавтра махнул в Егорлыкскую. Но и там порядки ужесточились. Фельдкомендант потребовал в отряд для поимки партизан в Азовских плавнях беломечётских полицаев. Это не понравилось Гариге. Но получив патроны и три “лимонки”, Семён Минич взбодрился. На улице встретил Стефана. Тот разузнал, что немецкие глазные протезы изготовлены из особого криолитового стекла. Фельдфебель обзавёлся таким на родине. Но можно попытаться счастье, обратиться в немецкий госпиталь, размещённый в Ростове.

Обратной дорогой Гарига усиленно думал. Без сомнения, только поступком можно заслужить поддержку фельдкоменданта. Вспомнив, как хвалил его Кремер, когда сразил красноармейца, Семён Минич пришёл к выводу, что надо ещё кого-то убить. На фронтах его охотничий пыл странным образом переродился в пьянящее безумие. И у белых, и у красных Гарига участвовал в расстрелах. И когда от нажатия курка живой человек становился мертвецом, он испытывал какой-то ознобный восторг. Вот и сейчас, подумав

об этом, незаметно для себя ощерился, затомился. Только бы найти жертву: партизана, еврея, коммуниста, беглого солдата — не имеет значения. А уж выставить себя героем, рабом германской нации, он сумел бы не хуже артиста...

Уже у станичной околицы ощутил он усталость и отвлекся. В церкви перекликались молотки. Вспомнив, что ни староста, ни Кремер не спрашивали о храме, Гарига усомнился в нужности его, хотя станичники всё делали самостоятельно. Впрочем, у немцев семь пятниц на неделе. А вдруг фельдкомендант явится с проверкой?

Семён Минич хотел сразу порадовать Любашу. Но та, выслушав, отказалась ехать в далёкий город, к немецким врачам.

— Що ты кривисься? Не надоело в перестарках? — не на шутку рассердился отец.

— Одна стеклянная “шашка” валяется в комод. С ней я хуже циклопа, — с горечью напомнила девушка.

— Ото ж другой протез! Немецкое “око” красивше живого... Як ясочка! — Гарига прошёлся по кухне и с досадой добавил: — У всех, Люба, внуки. А тильки у мэнэ немає...

10

Война дьявольской секирой разрубила великое пространство страны. На вольной, родной стороне неколебимо жила надежда, сплотившая людей целью: “Всё — для фронта, всё — для Победы!” А на оккупированной, точно ставшей чужой территории по плану “Ост” велось уничтожение славян и евреев. В глубоком тылу, на Украине и в Белоруссии, зондеркоманды СС, борясь с партизанами, дотла выжигали деревни, десятками тысяч умерщвляли мирных жителей.

Иное дело — на Дону и Кубани. Фронт здесь был всего в сотнях километров. Надеясь на поддержку казачьего люда, испытавшего “красный террор” и недавние репрессии, оккупанты повели дальновидную политику, выказывая уважение к ратным подвигам аборигенов: им было дозволено избирать старост и атаманов, открывать храмы, носить войсковую форму. Поощрительно относились коменданты к тем, кто вступал в немецко-казачьи сотни. Впрочем, вооружали “удальцов со свастикой” абы как, а использовали, где заблагорассудится: не раз бросали с шашками в некло артиллерийского боя.

Делая поблажки, захватчики неклись о снабжении своих дивизий донским и кубанским зерном, провиантом, фуражом и тёплой одеждой. И как только колхозные амбары оскудели, требования “новой власти” к населению стали круче, грабежи и карательные меры — гораздо чаще. И недаром! Наступление на Кавказе застопорилось, прорваться за Волгу, обратив Сталинград в прах и пепел, не удавалось...

Протяжённный лог вдоль речной излучки с давних пор носил название Бургуста. Вероятно, калмыцкие пастухи или воины, поившие тут коней, нарекли “Вербным местом” этот уголок в задонском просторе.

Издали открывалась путнику в поднебесной дымке, — словно бы это, споря с ветром, стоял на крыльях коршун-лунь, — белёлая верхушка бугра, нисходящего к Мечётке. Ниже склона подковой гнулась луговина, облобованная вербами и полководьем. Под исход апреля сюда стекались из станицы любители диковинного зрелища: пожара диких тюльпанов-лазориков. Рождённое внешней землёй алое пламя вперемешку с золотистыми и белыми проточинами разбегалось по берегу и застывало, сплошь укрывая землю. За версту ощущался такой тонкий медвяный запах, что у видавших виды казаков голова шла кругом, а у иной бабы и слезу вышибало. Степь будто внушала очарованным ею: “Ничто не сравнимо с моей красотой и могучей волей! Нигде нет такого манящего птиц неба и несметного богатства трав. И земля-кормилица, обласканная солнцем, отзывчива на тепло сердец и силу рук, щедра на хлебные колосья и родники. Только любите и берегите меня...”

Меркулов остановил велосипед на вершине бугра, оглядел благословенный приют. Предвечернее солнце, затянутое облаками, мягко освещало разлёт

лога. Качались под ветром вербы и порыжелые камыши, вознесшие шелковистые метёлки. Покосная деляна пестрела цветами. Две приземистые колны темнели у реки. А по склону, куда спускался просёлочек, дыбился татарник, маяча пунцовыми свечками. Над цветками столь густо вились пчёлы, шмели и осы, что казалось, горячий воздух плавился, тихонько дрожал.

Он с ветерком скатился в лог, подрулил к хорошо знакомому плёсу. По привычке расположился под вербой, маячившей на ветру белёсой изнанкой листьев. Клёв сразу задался — до сумерек надёргал мелочи для ушницы.

Костёр прогорал, но по курганчику пепелища пробежали огневые струйки, раздувая жар. Поминутно доносился перекастистый шум камыша, всплески, вскрики уток и казарок. Несколько раз на мелководе заводили переключку лягушки. Меркулов сделал ложе из сенца, отдающего шалфеем, покрыл его верблюжьим одеялом.

Скорая ночь засеяла небо звёздами. Серебристо-дымчатый Млечный Путь еле приметно поворачивался вместе с неисчислимыми планетами, галактиками и крохотными звёздочками, властно притягивая взгляд...

Там, в лагерной тайге, небо было суженным, иным, чем здесь, по-южному распахнутым. Меркулов понимал, что прежде чем будет открыта церковь, он сам должен возродиться духовно, ощутить свет Божьей благодати. В стране за четверть века утвердился атеизм, хотя и до революции истинно верующих было меньше, чем думалось. Теперь жизнь измерялась планами пятилеток, количеством продукции, трудоднями. Отвергая бессмертие души, коммунисты даже смерть восхваляли как подвиг во имя светлого будущего. Мастера на лозунги, они ратовали за построение “социалистического рая”. Поэтому учение того, кто “смертию смерть поправ”, для них было враждебным. Напротив, расстрелы и репрессии избавляли от инакомыслия. Но никому не отменить Суд Божий! “И судим был каждый по делам своим...”

“Жизнь уже на исходе, — рассуждал Меркулов, глядя на звёздную россыпь. — И остатний путь я должен пройти с честью, как мой дед, не испугавшийся турецкой сабли. Не оглядываться, смотря в бездну, а идти и вести за собой к Вратам Господним...”

Невдалеке послышались размеренные, шорохливые по траве шаги. Меркулов подбросил на уголья сушняка, и вспыхнувшее пламя выхватило из мрака фигуру мужчины. В его руке был посошок, на голове — парусиновая фуражка с длинным козырьком. К костру подвернул колхозный пчеловод Чекмарёв.

— Доброй ночи, — кивнул он, останавливаясь и кладя ладони на голову палки. — Одному не страшно?

— На всё Божья воля, Пётр Андреевич.

— Так-то оно так, ядрёна малина, да время лихое. Тоже в одиночку приходится домой ходить.

Чекмарёв достал из-за уха сигарку. Прикурил от тлеющей веточки. Жадно затягиваясь самосадным дымом, полубопытствовал:

— Дошла молва про арестованных станичников?

— Ничего не известно.

— Известно. На моих глазах было... — скороговоркой возразил пчеловод. — Мы с Мишкой, напарником, ещё до немцев перевезли пасеку в Бирючью балку. И вас прошу никому об том не рассказывать!.. В ту ночь разбудили нас машины. Смотрим: два крытых грузовика свернули к ярам. Должно, проводник с ними был. Как ехали машины, так и остановились с включёнными фарами. Стали наших высаживать, а из другой солдаты повыпрыгивали. Потеснили фрицы невольников на край яра. Люди взбулгачились. Поняли, что к чему... — у Чекмарёва перехватило дыхание. — Тут слышим — вроде скрипка прорезалась. Да так весело жжёт, как на свадьбе... Фрицы озверели, стали бить. Дети и женщины в один голос причитают, убиваются с горя... У меня до се в ушах звон... Да... Вытолкнули первых человек десять, детишки с ними, и — всех из автоматов! Вторым заходом — остальных... А скрипка... Изверги невероятные! Наутро пригнали военнопленных. Засыпали убитых. А мы с Михаилом...

По ночной степи прокатился гул, донесшийся с восточной стороны. Край горизонта подожгло заревце.

— Никак на станции в Егорлыкской? Взрыв вроде... Должно, партизаны... — предположил Чекмарёв. — А мы крест из дрючков сбили и поставили там.

— Сообщите родственникам! Не берите грех на душу, — взволнованно попросил Меркулов.

— А вот как переберёмся с пасекой на другое место, так и расскажем, — пообещал пчеловод и, сделав паузу, усмехнулся. — Вы на самом деле из духовных? А то жена сказала...

— Можете не сомневаться.

— Чудеса, ядрёна малина... Ну, бывайте здоровы, — уже на ходу оборнил Чекмарёв и, выбравшись на тропу, разгонисто зашагал в сторону станции.

II

Утром в Беломечётскую прискакали на коротконогих маштаках калмыцкие кавалеристы. Следом примчалась мотоциклетная рота жандармерии, все, как один, — рослые, мордатые, с вислыми усами. Выяснилось, что это галичане. Стефан в форме обершарфюрера СС командовал земляками и сообщил Гариге, что ночью на железнодорожном перегоне партизаны подорвали состав. Обошлось без жертв, хотя сгорела цистерна с керосином да повреждён паровоз. Спросил напрямик:

— У вас есть подозреваемые?

— Таких богато! — заверил Гарига. — Найдэмо!

И каратели двинулись в казачьи дворы, стали не только выискивать партизан, но и потрошить комоды и шкафы, будь то статуэтка физкультурника, кружевная утирка, серебряная чара или коврик, добытый прадедом в крымском походе. На произвол иноземцев отвечать станичникам было нечем, с застывшими лицами наблюдали они за грабителями. И в непокорных душах зрел гнев, зовущий час расплаты...

В курене Балибардиных за малым не дошло до беды. Мальчонка лет пяти, Васька, вместе с матерью, бледнолицей Катериной, наблюдал за дядьками, снующими по комнатам, и когда ушастый, пахнущий овчиной калмыцкий кавалерист снял со стены ходики с петушком, не сдержался:

— Вот плидёт панка с флонта, он тебе молду набьёт!

Мародёр сунул часы в вещмешок, стянул горловину узлом и обернулся:

— Что кричал? Плохо кричал? Пороть надо! — и выдернул из-за голенища нагайку с короткой ручкой.

— Ты — дулак! — выпалил казачонок.

Немецкий служака кинулся к пацану, желая проучить. Видя это, его жидкоусый сослуживец сзади обхватил хозяйку и потащил в спальенку. Упирающегося ручонками Ваську “дулак” зажал между колен, и уже было замахнулся...

Тут и случилось то, о чём долго помнили в станице. На плач внука и дочери поднялся престарелый Игнат. Больше месяца не вставал он со смертного одра, измождённый и пожелтевший, с глубоко запавшими глазами. Чёрная немочь точила казака, и мысленно он уже распрощался с этим миром.

В белой нательной рубашке, испятнанной кровавой слюной, привидением возник Игнат в проёме двери — высокий и худой, с обезумевшим взглядом. В поднятых руках его сияла иконка Николая Угодника. Вид страдальца был настолько зловец и страшен, что насильник опустил нагайку, оттолкнул мальчишку и что-то по-своему крикнул. Из спальенки выбежал соплеменник.

— Изыдь, сатана! — проклял старик глухим утробным голосом и ещё выше вскинул образок.

Толкаясь и бормоча ругательства, “воины вермахта” суеверно подались из дома.

До самого вечера продолжалась облава. Гарига верхом на гнедой носился по улицам, чтобы везде поспеть, подсказать карателям. Между делом

смотался домой и зарубил несущку, велел дочке готовить борщ. Под конец прилепился к Стефану и его земляку унтер-офицеру Дуде и уговорил отвезти “гарного борщичка”.

Открытый “Опель” на виду у соседней подкатил к высокому плетню, увиденному хмелем. Обер-полицай первым ступил на землю, отмахнул заднюю дверцу и стоял навтыжку, пока гости выбирались из машины.

— Пожалуйте, дружечки! — распахнув калитку, приговаривал Семён Минич. — Борщичка из кастрюли, а не из котла... Люба, ты иде? Встречай дорогих “фройндов”! Заходите в хату, паночки!

Но они стали оглядывать хату с резными птицами на фронтоне, выбеленные мелом постройки, сквозящий между ними сад. Переговаривались попольски, криво усмехались. Гарига насторожился. И в эту минуту на пороге появилась принаряженная Любаша.

— Я всё приготовила, — предупредила она и шмыгнула за дверь.

Увидев её в профиль, — броскую красавицу, — Стефан заинтересованно вскинул брови.

— Это ваша дочь?

— Моя ридна...

Гости оживились, вошли вслед за Семёном Миничем в горницу. На середине стола, покрытого камчатой скатертью, возлежал каравай. Глубокие тарелки и рюмки на ножках были расставлены напротив стульев, на блюде — култышками вверх — золотилась варёная курица. Крупные перья лука и помидоры красовались на медном подносе. Семён Минич замаялся, следя за гостями. Они сняли фуражки и положили на покрывало кровати. Стефан вопросительно взглянул на хозяина.

— Ручки помыть? Ось туточки, — кинулся тот к подвесному умывальнику, возле которого висели полотенца.

Но переводчик поморщился.

— Я солью, — нашла Любаша и кружкой зачерпнула воды из ведра. Стефан выставил над тазом длинные ладони. Зардевшись, она подала ему обмылок и стала сливать. Затем подошёл унтер-офицер.

— Я зараз. За горячим... — осклабился Семен Минич и вышел.

Стефан причесался у настенного зеркала и, исподволь наблюдая за Любашей, уточнил:

— Это ты вышивала?

Подделки на стенах, изображающие узоры и букеты цветов, котят в лукошке, голубей, репродукцию картины “Алёнушка”, привлекали глаз умелой вязью, подбором красок и непосредственностью.

— Да, — кивнула Любаша, со щёк которой не сходил румянец. — Зимой время остаётся.

Она, стараясь смотреть в сторону и не показывать пустую глазницу, испытывала крайнее смущение наедине с мужчинами.

— У нас, в Галиции, лучшие в мире мастерицы, — похвастался Стефан. — Заведено, чтобы матери расшивали сорочки своим детям. Секреты передаются по наследству... Твой отец говорил мне. Я узнавал и постараюсь помочь.

— *Slodki kawalek*, — съязвил его приятель.

— *Nie, dobry uczupek**, — поправил Стефан.

Хлопнув дверью, Семён Минич внёс запотевший гранёный графин. Когда гости расселись, Любаша разлила по тарелкам оранжевый, благоухающий зажаркой и укропом борщ. Семён Минич наполнил рюмки самогоном.

— За Германию и ... — затянул было Гарига.

Но Стефан оборвал:

— За красивую хозяйку и её рукодель!

И Гарига обомлел от удивления. Никак дочка приглянулась галичанину. Накатили горячие мысли: “Вот тебе и калечка... Нехай снохаются. Дело молодое...”

* — Сладкий кусочек.

— Нет, добрый поступок (*польск.*).

Он читал заупокойные молитвы у креста, поставленного пасечниками. Один под открытым небом, и голос его, казалось, возносился ввысь, к самому Престолу. Перед глазами вставали лица расстрелянных станичников и эвакуированных ленинградцев, и, сдерживая слёзы, он явственно представлял всё, что происходило здесь той страшной ночью...

Обратно пришлось возвращаться пешком, вести свой велосипед с проколотой шиной. Болела голова от жары и недосыпа, ход мыслей прерывали неоступные молитвенные слова: “Боже духов и всякия плоти, смерть поправай и диавола упразднивай”. Он знал за собой слабость — сердцем мерить людское горе, хотя святитель Златоуст наставлял: пребывая на Земле, сердцем живи на Небе.

Вдруг из акациевой лесопосадки выбрался на дорогу некий странный босяк. Одни грязные кальсоны с приставшей шелухой прикрывали тощее, загоревшее до черноты тело. Голый череп, обрамлённый курчавой шевелюрой, обезумевшие глаза на длинноносом лице, приплясывающая походка придали бродяге столь дикий вид, что Меркулов не сразу узнал школьного учителя музыки.

— Стой, человече! — визгливо воскликнул Файт, тараща глаза. — Кто ты: друг или враг?!

Меркулов не успел ответить, как ленинградец с воплем скрылся за деревьями.

Весь день “астраханец” трепал камыши, гнал мутную волну. Безжизненно серело пыльное небо. В такое ненастье хорошо только уткам: они без устали ныряли за рыбёшками, гоняли на мелководье лягушат, кружили вдоль кулиг тростника. А поклевки не было ни одной — поплавки, подергиваясь, обречённо прибивались к берегу.

Встреча с музыкантом, избежавшим расстрела, крайне взволновала Меркулова. Без одежды и пищи, таясь от людей, как выносит он голод и прохладные ночи? Возможно, ещё кто-то жив? Думая об этом, Меркулов вспомнил рассказ очевидца и понял, что немцы заставили скрипача играть, чтобы самим позабавиться, а в невольников вселить безумный страх! Разве можно это вынести, не потеряв рассудок? И всё-таки надежда, что несчастный появится, не покидала Меркулова, и он то и дело осматривал лог, задерживал взгляд на речной излучке.

А Файт вышел перед закатом на вершину бугра. Он долго озирался, пошатываясь под напором ветра. Затем обогнул заросли колючек и на скованных ногах, словно на ходулях, спустился к берегу. И так же остановившись вдалеке, с надрывом прокричал:

— Кто ты, путник?! Я — Долик Файт... Я очень голоден, слышишь?!

— Подходите, Адольф Ильич, — отозвался Меркулов. — Будем ужинать.

— Сударь, у меня нет ни гроша! — с трагическим видом предупредил учитель. — Но я могу сыграть вам в счёт оплаты. Конечно, можно подождать, когда приедет симфонический оркестр. Впрочем, всё равно солировать мне...

— Буду рад послушать.

Файт, крадучись, подошёл. Положил на подломленную высокую польну скрипичный футляр.

Он съел всё, что было: ломоть хлеба с целой головкой чеснока, пышку, желтобокий огурец, вяленого подлещика и грушу. Бедняга был так худ, что на коже костистых рук и ног чётко обозначались синие веточки вен и пучки сухожилий. Ребра выступали наружу, как у Коцея. Кровяная жилка пульсировала на тонкой шее. Ступни были изодраны царапинами и темнели запёкшимися ранками.

Насытившись и выпив корчажку воды, Файт осоловел и притих, к нему проблесками стало возвращаться сознание. Меркулов набросил на плечи скрипача одеяло.

— Покорно благодарю за угощение, — бормотал он вполголоса. — Я не ел много лет. С той ночи, когда нас с женой привезли к чёрту на кулички...

— Адольф Ильич, как вам удалось спастись? — спросил Меркулов.

— Я — гений, и поэтому бессмертен... — высокомерно заявил музыкант и усмехнулся. — Когда нас высадили в степи, немецкий офицер увидел в моих руках футляр и попросил исполнить “Чардаш” Монти. Меня, конечно, знает вся Европа... И я дал концерт! А немцы поубивали тех, кто мешал слушать, и стали мне аплодировать... А когда офицер, сущий невежда, спросил: “Тебя действительно зовут так же, как фюрера?” Я подтвердил, и он ударил меня, прогнал... Болван, он даже не подозревает, кто я...

Смеркалось. Пора было разжигать костёр. Меркулов, слушая, принялся неторопливо ломать сушняк. Музыкант с возмущением спросил:

— Что вы собираетесь делать? Зажигать огонь? Это опасно!

— Заварим на ужин чаю и запечём картошку, — успокоил Меркулов.

Несчастный заговорил, повышая голос и вскрикивая, точно в бреду:

— Меня ищут! Агенты всего мира могут схватить меня... Так и быть, я признаюсь... Вы поверили, сударь, что я Долик Файт? Вы ошиблись... Я — сверхчеловек, я одновременно и Ленин, и Гитлер... По имени-отчеству могли бы сами догадаться... Что, удивлены? Не ожидали?! Это я руководил революцией... Потом стал фюрером... А Гитлер в Берлине — мой двойник, — Файт самодовольно хихикнул. — Завтра я прикажу войскам вернуться в Германию. Но мира не хотят мои фельдмаршалы и подлые вороны! Они весь день каркали мне об этом... Послушайте, вы не видели Нору? Я ищу жену и не могу найти. Помните, мы ели макароны, когда за нами приехали. Они же могут пропасть! — музыкант умолк и задрожавшим голосом попросил: — Разожгите костёр, разожгите поскорей... Я обожаю смотреть на огонь! Он отпугивает ворон...

Подкрепившись ещё раз, Файт не смог противиться сну. Он забылся как-то сразу и крепко, и Меркулов тихонько подложил ему под голову свою подушку и накрыл тощее тело одеялом.

Утром музыкант исчез. Не оказалось на месте и велосипеда.

Не объявился он ни в этот день, ни на следующий.

И бабье лето, по всему, гостило последние денёчки. Жара спала. Обложная синяя тишина нежилась в степи. Тонкие паутинки проблёскивали в воздухе, парусили на ветру. Простор расширялся все шире, сквозь реденеющие кроны верб и акаций завиднелись заречные косогоры, щетинистое жнивье полей.

Была пятница, и Меркулов, по обыкновению постясь, читал Библию. Останавливаясь, обдумывал страницы и обращался мысленно к предстоящей службе. Он перебирал в памяти пастырей, оставивших след в его судьбе. Все они были едины в утверждении веры Христовой. Но вместе с тем, каждый из святых отцов прошёл свой особенный путь, помня слова Писания: “Проклят, кто дело Господне делает небрежно”. И в последние дни, проведённые в отрыве от тшеты, он будто приблизился к Граду Небесному, осознав, сколь необходима народу духовная поддержка. Земной мир, погрязший в прегрешениях и беззаконии, катится к гибели. В геенне огненной половина Европы. Жизнь человеческая ничего не стоит, и день ото дня скорби множатся, значит, надлежит ему в свете лица Божия вести верующих к покаянному спасению. Пусть впереди трудности. Они преодолимы в долготерпении и рдении о пастве. Благодаря молитвенному труду и чтению Библии, душа его исполнилась света, становясь причастной глубинам веры Святой.

Сегодня по-новому открылся ему смысл, почему из пустыни начал Спаситель свой крестный путь. Оказывается, закон праведности заключается не в случайном, а в осознанном преодолении искушений и тягот. Дух Святой, приведя Иисуса в пустыню, оставил Его наедине с искушителем затем, чтобы мог Он измерить в испытаниях свою волю и веру. “И приступил к Нему искушитель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: “не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих”. Эти строки были и священным пророчеством, и наставлением для всякого пастыря, ибо единственное его орудие есть Слово...

Последняя ночь на Бургусте выдалась довольно прохладной. Перед зарёй затуманилось, и с восходом солнца на подсвечниках цикория, на лопушистом репейнике заискрились крупные капли росы. Утро снова овеяло дали теплынью, а края неба окольцевало лёгкими лебяжьими облачками. На берегу устоялся терпкий дух пижмы и полыни.

Меркулов набрал во фляжку родниковой воды, приготовил рюкзак. С утренним клёвом опять повезло. Беспрерывно бралась отборная плотва и окуни. Увлечённый ловом, он не сразу обратил внимание на тихий мелодичный звук, рождённый скрипкой. Повернув голову, он с удивлением увидел в отдалении спускающегося по склону Файта. Донельзя измождённый, словно закопченный от загара, он играл на ходу, ступая размеренно, точно под метроном. Протяжная красивая мелодия отозвалась в сердце Меркулова щемящей болью. Вместе со скрипкой будто бы плакала и степь, и небо, и весь мир...

Учитель приблизился к плёсу на повороте реки. Водная гладь его была зеркальной, в белых разводах облаков и синева. Невысокое солнце скрывали камыши противоположного берега, лишь в прогалину между ними пробился одинокий луч. Скрипач был так поглощён игрой, что, видимо, не сознавая своих действий, побрёл по мелководью.

Недоброе предчувствие побудило Меркулова бросить удочки и поспешно зашагать по тропе, хотя между ними было не меньше километра. Он наблюдал, как учитель, окончив сложный пассаж, решительно двинулся дальше, к середине реки. Издали показалось, что не в реку он входит, а в ясную глубину неба. Музыка над водой стала громче и напряжённой. Файт двигался по лучу, как по огненной дорожке. Вот он погрузился уже по пояс, ещё шаг, другой, — скрипка, теряя голос, захлебнулась, — и Файт с головой ушёл под воду...

Когда Меркулов добежал до плёса, на поверхности не осталось даже пузырей. И лишь вдалеке, на стрежне, где бурлил водоворот, на мгновение всплыла знакомая оранжевая скрипка. Она корабликом мелькнула под солнцем и — навеки пропала.

А велосипед нашёлся неожиданно, когда Меркулов, надев на спину рюкзак и взяв в руки удочки, поднимался по склону бугра. Неподалёку от дороги, где был примят репейник, его взгляд привлёк яркий блеск никелированного руля. Возле заднего колеса лежал открытый футляр, зеленая бархатом. А на нём сидела крупная, невиданная прежде бабочка с узорчатыми белыми крыльями...

13

Из служебного донесения начальнику Особого отдела Северо-Кавказского фронта полковнику М. И. Белкину.

“7. Меркулов Антон Николаевич. 1895 г. р. Уроженец Ворошиловска (Ставрополя). Из разночинцев. Окончил Кавказскую духовную семинарию. Белогвардеец. Служил в деникинских войсках священником. По сфабрикованному документу скрывался в Пятигорске, где был выявлен и осуждён за контрреволюционную деятельность. Семь лет отбывал в ИТЛ. Выбрав местом поселения станицу Беломечётскую, Меркулов не посещал общественные мероприятия, вёл скрытую религиозную пропаганду.

С момента оккупации района сотрудничал с оккупационными властями. По его ходатайству было приспособлено для отправления культа здание бывшей церкви. Опираясь на поддержку лиц преклонного возраста, ежедневно совершал церковные службы, читал так называемые часы. Одурачивая массы, проводил ритуалы: причащение, крещение, отпевание и т. п. В проповедях призывал к терпению и молитвам. Факты восхваления им немецкой армии или Гитлера не установлены.

В октябре партизанский штаб внедрил в станицу бойца И. Чаусова, местного жителя. Поступив в церковь на должность пономаря и по совместительству истопника, он за короткое время создал подпольную группу. Комсомольцы обстреляли вражеский мотоциклетный патруль и подожгли здание правления колхоза. А в ночь на 7 ноября, в честь 25-й годовщины Великой

Октябрьской социалистической революции, вывесили советский красный флаг и расклеили листовки...”

* * *

До самого ноября полицаи были заняты преимущественно тем, что следили за явкой колхозников на работы. Тех, кто отлынивал, находили и нагайками, угрозами выгоняли в бригады. Перезрелую пшеницу и рожь с горем пополам скосили лобогрейками и обыкновенными косами, в снопах свезли на ток. По причине неисправности паровой молотилки очищали зерно по старинке — ручными цепами и каменными катками на лошадиной тяге. Дожди затянули уборку капусты и кукурузных початков на отдалённом суглинистом угодье. В оставленном без присмотра саду с утра сходились старожилы не столько в поисках яблок и груш, сколько для душевительных разговоров.

Несмотря на осенние работы, в церкви, освящённой на Покров Пресвятой Богородицы, как раз в день войскового праздника казаков, отец Антоний вёл службы, сколько бы прихожан ни собралось. И по воскресеньям стали приезжать богомольцы не только из ближних хуторов, но даже из Сальска, чтобы отбыть литургию, послушать проповедь священника, отличающегося разборчивым произношением. Людской ручеек день ото дня ширился. Пелагея Никитична приняла на себя труд и пекаря, и казначея, и церковной старосты. Не за горами была зима, и по её совету батюшка взял себе в помощники её родственника, покладистого юношу, согласившегося также отапливать храм.

Чутьё и на этот раз не подвело Гаригу.

В ночь накануне большевицкого праздника он устроил засаду в центре станицы из двух полицейских, а новопризванным молодцам приказал заседать лошадей и патрулировать улицы. Сам же, надев рваную ушанку и полушубок колхозного сторожа, начал пеший обход станицы.

После ненастья третий день не унимался бахмач*, а этой ночью даже подмораживало. Уличная тропка была вязкой, но Гарига отмеривал шаг за шагом, приглядываясь и прислушиваясь. Время от времени запуская руку в глубокий карман тулупа, тискал рукоятку “вальтера”. Подарил пистолет ему Стефан. И то, что дочка мало уделяла внимания зачавшему гостю, сердило не только красавца, но и его самого. Ведь недаром гуцул забрал для образца старый протез и пообещал привезти взамен немецкий, самый лучший...

За полночь небо обнажилось. Иней выбелил деревья и землю. Над полями свесился рыжий стручок месяца. То за ветром, то встречу ему плёлся Гарига вдоль домов. Поравнявшись с подворьем Дюньдика, разглядел на крыльце сидит старика. Ветер донёс надсадный кашель, мимолётно плеснул дымком самосада. “Должно, Тайка курить на двор выгнала. Она у него хворая”, — догадался Семён Минич и, вздохнув, потащился дальше. Из трубы балькинского куреня поднимался дым, сбиваемый ветром, и он ощутил запах свежеспеченного хлеба: видимо, Пелагея готовила просфоры. Гарига прислонился к плетню, с неприязнью подумал, что не его, облечённого властью полицейского, почитают ныне в станице, а новоявленного попа. Даже Любаша наладилась ходить в церковь с богомолкой Марфой. До позднего вечера просиживала у неё за чтением Библии. И ради чего он тогда себя не жалеет? Где людская благодарность? Вот сейчас мёрзнет на улице, охраняя всех от партизан, а поп, небось, дрыхнет или крестит лоб в натопленной комнатке... Душу залило обидой, и только мелькнувшая мысль, что немцы увеличили штат полицейских, призвал ещё троих, отвлекла и малость успокоила...

Замкнув круг, Гарига вышел к площади. В затишке, за церковью, ветра почти не ощущалось. Он отёр рукавом оледенелое бревно, устало сел.

* Бахмач (донск.) — северный ветер.

И снизу посмотрев на высокую стену храма, точно впервые заметил, сколь он огромен. “А ежели на самом деле Бог есть?” — негаданно кольнуло сомнение. И Семён Минич почувствовал озноб, как от снежка, брошенного за ворот. Третий месяц служил он у немцев, и то, что поначалу дурманило, наполняло тщеславием и придавало сил, стало уже надоедать. Война затягивалась. Он немолод, и гробить себя, прозябать, как пёс, долго не сможет — не железный! Вставить бы дочке “глаз”, отдать замуж за гуцула или немца, а самому — на покой. Награбил он изрядно: дорогих украшений, посуды, отрезов и одежды, запаса карабином и патронами. Поднакопил деньжат. Можно сказать, разбогател! Хватит тянуть жилы. До тошноты обрыдли и немцы, и станичники со своими жалобами, воровством и скандалами. И что это за жизнь, когда запросто могут убить партизаны? Как ни храбрился он перед подчинёнными, а подставлять башку под пули не хотелось...

Вкрадчивые шаги по затвердевшему насту стали слышней. Семён Минич встал, заполошно выглянул из-за угла. В мерклом свете месяца напротив побелевших кустарников чётко выделялись два идущих к храму человека. Он выхватил из кармана пистолет и подбежал к кусту жасмина, растущего у церковного крыльца, присел. В ноздри ударил крепкий запах прели. Боялся шевельнуться, весь обратился в слух. Вот шаги гулко отдались по каменным ступеням, замерли у церковных дверей.

— Здесь тебя искать не станут. А после утрени отведу в Егорлыкскую, — прозвенел высокий юношеский голос, и Гарига с удивлением сразу же узнал его. — Отец Антоний разрешил взять линейку.

— Листовки передай Любе, дочке полиция.

— Да, она надёжный товарищ.

— Мы вывесили на школе флаг Родины. Значит, в станице советская власть!

Заскрипела дужка большого амбарного замка.

Гарига, поднимаясь, зацепился головой за ветку, и она больно хлестнула его по глазам, сбила шапку. Вгорячах он пальнул в небо, зашёлся в крике:

— Стоять! Руки вверх!

Тот, кто был поодаль, в тёмном пальто и картузе, сорвался с паперти и успел прошмыгнуть в ворота каменной ограды прежде, чем вдогон полетела пуля. Гарига наставил пистолет на пономаря.

— Попался, сучонок?

Держа на прицеле Ванюшку, который не раз приносил дочери церковные книжки, Семён Минич поднялся на паперть. Ненависть душила его — уж никак не мог заподозрить он в тщедушном парубке, Божьем угоднике, лютого врага. Догадка, что это его Любашка заодно с партизанами, осенила и повергла Гаригу в оцепенение. И он доверился наитию, сменил гнев на милость.

— Ты не бойсь, Ваня, — вдруг ободрил Гарига. — Я шутовал... Приятеля твоего отпустил. Бахнул для блезиру... А про вас знаю. Мэни дочка казала.

Иван, оторопев от неожиданности, упрямо молчал.

— Али не веришь? А хто полицейских в засады отвёл? Иначе как бы вы флаг повесили? — убеждал Гарига, а сам думал: “На самом деле промахнулся я, рохоба*... Надо было самому патрули водить...”

— Не бойсь, я отпущу. Чи треба обыскивать? Ты тильки кажи, с тобой есть що-небудь, улика яка... Ну? А то “орлы” мои наскочат... — увещевал Семён Минич, а мысли лихорадочно путались: “Вин знае про Любку... Запытают в гестапе и — развяжет язык... И Любке лагерь, и на мэна подозрение падэ...”

Иван, наконец, осмелился:

— Немного листовок. Клейстер замёрз.

Гарига облегчённо перевёл дыхание и приказал:

— Давай их мэни, а я — Любке.

* Рохоба (донск.) — растяпа, неудачник.

Иван рывком достал из-за пазухи газетный свёрток. Гарига сунул его в карман тулупа. В пролёт крайней улицы донёлся перебор скачущих лошадей — подчинённые услышали выстрел. От фуфайки священнослужителя приятно пахло воском и ещё каким-то сладковатым духом. Но пульсировала в голове жгучая мысль: “Сгубит усих нас...”

— Ховайся в церковь! — поторопил Семён Минич и, едва тот повернулся спиной, дважды нажал тугой курок. Паренёк схватился рукой за дверную ручку, всхлипнул и упал ничком. Обезумевший от запаха пороха, Гарига шнул бездыханное тело носком сапога, пробормотал:

— Оце гарно... У Бога теплийше...

Тут же с гиканьем подлетели конные полиция, спешили. Поднялись на папёрть, к своему командиру. А тот, рассказав, как выследил партизан, и дав приметы одного из них, сбежавшего, распорядился начать облаву. А самого младшего, тонкошеего подростка, оставил у церкви и приказал:

— Сторожи и никого не подпускай. Стреляй без предупреждения!

...Он ворвался в собственный дом, матерной бранью разбудил дочку. Любаша, с расплетёнными волосами, векинулась, села с ногами на кровати, со страхом натянула на себя одеяло. Небывалая озлобленность сделала его зрячим даже в темноте. Он стегал кнута укрывающуюся подушкой и одеялом дочку до тех пор, пока не выбился из сил. Любаша сначала кричала, молила о пощаде, а после терпела со сжатыми зубами...

Опомнился Гарига только на полпути к управе, когда по непокрытой голове стала хлестать льдистая крупка. Он обнаружил в окоченевшей ладони кнут и остановился, по привычке намотал плетё на дубовый черенок. За много лет впервые испытывал он неприкаянность, точно лишился привязки к жизни. Родная дочка связалась с его врагами! Обида палила грудь.

— Лучше б мэни партизаны убылы! — плаксиво вырвалось у Семёна Минича, и глаза на самом деле подёрнули слёзы. А следом пронизал его острый ужас: замутнённый взгляд различил у здания не акацию, качающую на ветру свои ветки, а большой скелет, простирающий костистые руки...

14

Поиски длились до утра, — верхоконные полиция прочесали улицы и проулки, домчались до станции Егорлыкской, куда мог направиться беглец. А уж затем Касторный и Тимченко арестовали отца Антония как раз в тот момент, когда он подходил к церкви. Ничего не зная о ночном происшествии, тот посчитал привод в полицию недоразумением и уверенно вошёл в кабинет Гариги, захламлённый седлами и амуницией.

— Что случилось? Вы помешали провести мне службу, — с укоризной сказал отец Антоний.

— Опосля узнаешь, — с ухмылкой отозвался Гарига.

— Люди пришли к заутрени...

— Сидай! Успеют лбы окрестить.

Отец Антоний, в пальто поверх чёрной суконной рясы, в тёплой скуфье, по-прежнему стоял, испытующе глядя на Гаригу.

— Погано дило, святой отец... Накрыл я партизанскую шайку. А в ней — твой пономарь Ванька. Ночью развешивал листовки, — и Семён Минич, взяв со стола, потрепал стопкой бумаг.

Отец Антоний свёл разлтые брови. Слова полицейского он воспринял с недоверием.

— Мне об этом ничего не ведомо. Я хотел бы поговорить с прислужником.

— Цього неможно. Кто к Ваньке приходил? С кем вин якшался?

— Чаше других, помнится, с ним общалась ваша дочь.

“И вин знает про Любашку, — насторожился Семён Минич. — Ще свидетьель... Надо его в гестапо, в Егорлыкскую...” — а вслух попенял:

— Ото ж, соседка сманила. Небось, поливала мэни Любка на исповедах?

Отец Антоний настойчиво напомнил:

— Мне нужно в храм!

— Там службы билыше нэ будэ! Повезём тэбэ, Меркулов, в немецкую комендатуру.

— Вы чините беззаконие, — сурово сказал отец Антоний. — Ни о каких партизанах я не знаю. Не берите грех на душу!

— А нехай до кучи! У мэни их три тележки, две арбы... Тимченко! — позвал Гарига, и когда невысокий, юркий и злой, как хорь, полицейай вошёл, приказал: — Напои вороную пару и дай кукурузы! Днём тебе наряд в Егорлыкскую...

Жёнский слёзный крик раздался на дворе. К нему присоединился ещё один голос, и через минуту в кабинет заглянул прыщавый подросток, недавно призванный в полицию Алёшка Брыкало:

— Господин начальник! Там это... пришли за убитым. Бабка Ваньки и тётка.

— Скажи, завтра! — грубо распорядился Гарига.

Отец Антоний, потрясённый услышанным, побледнел. В его расширенных глазах тяжелела скорбь.

— Пономарь Иоанн... погиб?

— Так точно.

Отец Антоний шатнулся, не сразу обрел самообладание.

— За свои деяния каждый ответит пред Господом. Вы — человек крещённый, господин Гарига... Вы должны отпустить меня, чтобы содеял чин отпевания новопреставленного раба Божьего...

— Цьего невозможно! — непримиримо отрезал Гарига. — Вин есть враг! А зараз мэни надо совещанье проводить... Брыкало, отвести в арестантскую!

И тот же подневольный новобранец отвёл и запер отца Антония в дальней комнате с зарешёченным окном на первом этаже. В ней, пахнувшей камфарой, стояла одна кушетка. Вероятно, раньше тут размещался медпункт. Отец Антоний снял пальто и начал молиться...

А Гарига, посидев в одиночестве, преклонил голову на фашистское знамя, стоявшее в тумбе у стены, и задремал. Сновиденье было нехорошим, зловещим. Всё виделись галки, и слышались заунывные стенания... Разбудил его бас Тимченко. Оказалось, старшего полицейского повторно потребовал к себе станичный староста, хотя о том, что случилось ночью, ему было доложено.

Семён Минич, борясь с зевотой, поднялся по лестнице на второй этаж. Казалось, сон продолжался, — слух ловил голоса певчих. Гулый, страдающий одышкой, часто носил грудь. Он метнул возмущённый взгляд на полицейского и, вскочив, жестом пригласил к окну:

— Поллубуйся...

На площади, перед входом в здание, теснилась толпа, пестрящая хоругвями. По всему, прихожане (в большинстве, женщины) совершили крестный ход, и теперь устроили молебенствие с песнопениями перед управой. Впереди с иконой Спасителя в руках стояла Пелагея Никитична Балькина. Нестройный хор богомольцев то затихал, то начинал звучать с торжественно-горестным раскатом.

— Доигрался, копыто стоеросовое? — гримасничая, съязвил Гулый. — То, что партизаны повесили флаг у тебя под носом, доложил, а то, что арестовал священника, забыл. Главное, зачем это?

— Як зачем? Вин и есть главный бандит партизанский, — угнув голову, исподлбья зыркнул Гарига. — Це вин командовал ими...

— Одного ты убил. А где другие? И какие доказательства против отца Антония? Значит, надо было, оглобля дубовая, не трогать его, а взять под наблюдение...

Гарига спросонья соображал туго, но будучи абсолютно уверен, что прав, попытался возразить. Староста затрясся от гнева:

— Какой из батюшки партизан? Ты в своём уме?! Немцы открыли церковь, а ты, жук навозный, закрыл? Может, пора самого тебя закрыть?! — староста стукнул кулаком по подоконнику. — Вот что, Идиот Иванович... Ступай, извинись и освободи священника!

Но Гарига, молча снося оскорбления, наливался упрямой обидой и потому неожиданно для самого себя явил дерзость:

— Немае у мэни попа. Отправил подводой в комендатуру.

— Пошли верхоконного, чтоб перенял... Живо!

Но обер-полицай, отчеканив “Есть!” — всё-таки пошёл старосте наперекор. Строжайше приказав подчинённым молчать, держал отца Антония в арестантской до следующего вечера. Смилоствивился только после похорон прислужника. Из управы отец Антоний сразу направился в церковь...

Гарига и сам точно не знал, за что возненавидел священника. С одной стороны, поп, конечно, не связан с партизанами, для которых является антисоветским элементом, а с другой — баламутит и всё больше привлекает в церковь народу, в проповедях призывает к долготерпению и надежде на спасение. Чувал Гарига нутром: не немцам помогает он, а “Советам”, и поэтому решил выжить попа из станицы, подстроить так, чтоб никто в комендатуре не сомневался, что он — вражина...

15

После Рождества немецкие войска начали широкомасштабное отступление с Кавказа. Вначале передвижение танков и полевых формирований по бывшему Тифлисскому тракту было упорядоченным, но с каждым днём ускорялось, становилось неуправляемым и попросту превратилось в бегство. Обратной дорогой к Ростову катились танки фон Клейста, автомашины и самоходки мотопехоты, артиллерийские тягачи с орудиями. Вперемежку удирали с фронта кавалерийские части и конная жандармерия. Такого скопища оккупантов южные донские селения никогда не выдывали!

Отец Антоний после утренней службы крестил в храме внуков деда Дюньдика. Сам старик и супружница его Таисия, приодетые, с угрюмо-напряжёнными лицами, держали свечи в вытянутых руках и строго наблюдали за тем, как дочка и её подруга Ольга, будущая крёстная мать, уговаривали Толика и Петьку не баловаться и слушаться священника, который согласился стать их восприемником. Возле них крутилась девчонка постарше, их подруга, прибившаяся к соседке Вере. Известно было только, что она круглая сирота и жила прежде в городе.

В белой ризе, епитрахили и поручнях отец Антоний располагал к себе приветливостью лица и той мягкой степенностью, которая побуждает людей доверяться. Совершая таинство Крещения, он всякий раз испытывал особое, ни с чем не сравнимое блаженное состояние. И сегодня в сумеречной малолюдной церкви, украшенной сосновыми ветками, с иконой Спасителя на аналое, всем сердцем ощущал благодатное присутствие Святого Духа...

После молитвенных обращений к Господу, приняв изустное отречение от дьявола восприемницы, он подошёл к большой медной купели. Оканчивая молитву, отгоняющую от крестильни лукавого, отец Антоний опустил руку и трижды сделал в воде знамение креста. Затем таким же образом освятил купель елеем.

В храме было довольно прохладно, и отец Антоний, хотя помощница и подогрела воду, хотел ограничиться омовением лиц. Но казачата по команде деда стащили с ног валенки, сбросили на руки матери кацавейки и рубашки и гольшом подбежали к купели. Смуглотелье, вихрастые, оба вопросительно-серьёзно смотрели священнику в глаза. Отец Антоний, подхватив младшего из них, лет двух с половиной, опустил в воду.

— Крещается раб Божий Пётр во имя Отца, аминь...

Окунув во второй раз:

— И Сына, аминь...

И в третий:

— И Святого Духа, аминь!

Он надел на шею малыша нательный крестик и передал восприемнице, приготовившей полотенце. А затем, когда вытерли и облекли Петьку в белую рубашонку, миропомазал его, повторяя:

— Печать дара Духа Святаго.

И как только священник обернулся, ожидавший своей очереди Толька схватился цепкими ладошками за край купели и перевалился в неё, окатив священника брызгами. Троекратное погружение в воду воспринял он как забаву и постоянно улыбался, хотя дрожал, и на коже проступили цыпки...

Во время хождения вокруг купели с детьми и их крёстной матерью, державшими в руках возжжённые свечи, в церковь ввалились гурьбой странные немцы в кубанках. Они обнажили головы и по-православному перекрестились. Выжидающе стояли, пока не завершился обряд. На рукавах их мундиров чернели нашивки с черепом и костями. Наконец, усатый немолодой вояка прогремел сапогами по каменному полу, подходя к батюшке, и отчеканил с лихостью, присущей казакам:

— Здравия желаю, святой отец! Унтер-офицер Кильпа второго эскадрона полка Юнгшульца! Герр подполковник приказал стать на постой в церкви, так как хаты в станице заняты другими частями под завязку. В нашей роте — кубанцы, люди верующие, шкодить не будем, — и тут же поправился. — На всякий случай, соблаговолите замкнуть алтарь и уберите ценные иконы и тому подобное... Ждать нам некогда. Сутки с коней не слезали. Надеюсь, за полчаса освободите помещение?

Отец Антоний силится постигнуть сказанное кубанцем в форме вермахта, и — молчал, поражённый злоумышлением. Это было немислимо и сопоставимо с нашествием бесов. И тем кощунственней представилось грядущее святотатство, что в душе его пребывало ещё умиление от совершённого несколько минут назад таинства. Он встряхнулся и заговорил решительно, подчёркивая слова:

— Мы только отпраздновали Рождество Христово. Идёт святочная неделя. В мир пришёл Спаситель. В молитвах восславляется Пресвятая Богородица... А вы вознамерились осквернить Божью обитель? Господь через пророка Иезекииля свидетельствовал: в неправде своей, юже сотвори, в той умрёт.

— Мы долго не задержимся, — перебил унтер-офицер. — Дня два, а то и меньше...

— Я не пушу вас в храм.

— Почтенный, выполняйте приказ! — громко прикрикнул унтер-офицер и, крутнувшись на каблуке, шагнул к выходу, уводя за собой подчинённых.

Дед Дюньдик, Пелагея Никитична и прислужница Лидия слушали разговор, стоя у амвона, и когда церковь опустела, стали возмущенно советовать обратиться к Гулому. Но батюшка покачал головой и повторил слова апостола Павла:

— Беды приемлем на всяк час. Староста безвластен над воинством. Поэтому милостиво прошу вас разойтись по домам.

— А вы? — спросила Пелагея Никитична.

— Буду молить Господа отвести поругание...

— Тогда мы тоже с вами, — вызвалась бесстрашная казачка, и её поддержали остальные.

— Нет. Эту ношу я понесу сам...

Когда отец Антоний остался в храме один, он запер изнутри входные двери на три железных засова, выкованных давным-давно в станичной кузне, и вошёл в алтарь. Он возжёт лампадки высокого семисвечника и подождал, пока лепестки огня поднялись и затрепетали на сквознячке. Потом встал в горнем месте на колени у заперстного креста и начал молиться. И с первых слов обращения к Иисусу Христу, Господу нашему, в душе замерцал тот чудесный молитвенный луч, который с каждой минутой обретал накал и таинственным образом помогал перестроиться и чувствам, и мыслям, и пребывать в свете Лица Божия. Отец Антоний воздавал благодарение Спасителю и Богородице и покаянно просил очистить грехи и простить беззакония, и не допустить вхождение нечестивых в храм...

Тяжёлые размеренные удары в дверь быстро слились в сплошной грохот. Отец Антоний молился, не поддаваясь страху. Когда же услышал позади себя детский плач, встревоженно оглянулся и вдруг заметил стоящую у полуоткрытых северных врат ту самую девочку в клетчатом платке и большой

телогрейке, достающей до пола, которую видел сегодня во время крещения. Он поднялся и, выйдя из алтаря, ласково успокоил:

— Не плачь, милая. Я с тобой. И Господь с нами.

Глазастая девчонка, всхлипывая, стала умолкать.

— Как ты здесь оказалась?

— А я... я хотела, чтоб и меня... окрестили... Тёнька Вера послала.

И сказала, чтоб дождалась, когда вы будете одни, и попросила вас... Вот я и ждала... За кучей дров... А теперь мне страшно... — и егоза вновь залилась слезами. — Это... это немцы хотят нас убить?

Отец Антоний руками поманил её к себе. Она подбежала, обхватила его ручонками за пояс и, прижавшись, затихла. И, как ни странно, в эту минуту грохот пошёл на убыль. Снаружи стали слышней разъярённые крики и брань. Похоже, рвущиеся в церковь немецкие казаки спорили, что делать дальше. Убедившись, что выломать дубовые створки на мощных петлях невозможно, они поняли: войти в храм можно было только одним способом — выбить двери взрывом.

— Как тебя зовут, голубушка? — спросил отец Антоний, по-отечески тронутый теплом, исходящим от ребёнка.

— Люська. А мама звала Милой...

— Вот и я буду звать тебя так же.

— Нет, лучше Люськой, — возразила девочка, и в дрогнувшем её голо-се послышалась боль, ограждающая самое сокровенное, что хранилось в душе — память о матери. И уловив это, отец Антоний прослезился.

Тишина росла. Она становилась звенящей. Тянулись минуты.

Отец Антоний повёл девочку в подсобную комнатку, где обычно трапезничал, зажёл свечу и дал ей кусок печёной тывки и польшкы. Наблюдая, как уплетает Люська за обе щеки еду, он мысленно благодарил Господа за чудесное избавление от осквернителей, за собственное спасение, а появление в храме ребёнка отнёс к благому знаку свыше...

Ранним утром Пелагее Никитичне удалось-таки достучаться, и когда отец Антоний впустил свою хозяйку в храм, она с радостью рассказала, что в станице “супостатов” уже немного, — они драпают на запад, а Гаригу снял староста с должности за то, что не впустил в свой дом ночевать казаков. Те пожаловались, и теперь бывший обер-полицай угодил собственной персоной в арестантскую...

— А я вам нашёл новую квартирантку, — с улыбкой сказал отец Антоний, вопросительно глядя на хозяйку. — Девочку-сиротку. Спряталась в храме и была со мной это время... Отец у неё погиб на фронте, а мать — под бомбежкой, когда шли в беженской колонне. Приютилась пока у какой-то тёёньки.

— А сколько ж ей лет? — поинтересовалась Пелагея Никитична, ища глазами девочку.

— Должна учиться в первом классе.

— Как отказать... Раз считаете, что нужно взять, значит, возьмём, — махнула рукой казачка и приободрилась, тоже посветлела лицом. — Ну, иде она? Показывайте свою находку... Чтой-то вы бледный. Часом, не захворали?

— Немного морозит... Ничего, не обращайте внимания. Господь отвёл от напасти, и это великое чудо...

Но оптимизм отца Антония оказался поспешным. В тот же вечер слёг он с высокой температурой. И как ни старалась хозяйка и её неутомимая помощница Люська поскорей вылечить батюшку, готовя травяные и ягодные отвары, ставя банки, читая молитвы об исцелении, побороть простуду удалось только через две недели. Начал подниматься отец Антоний уже после Крещения...

Новый обер-полицай Касторнов продержал в арестантской Гаригу трое суток. Даже староста, взбешённый своеволием Семёна Минича, удивился столь строгой мере. Ещё вчера был Костя правой рукой обер-полицая, беспрекословно выполнял приказы, стараясь угодить и заслужить похвалу, а нынче

превратился в девятнадцатилетнего Константина Ивановича. Широкие плечи, скулатое лицо с обрезанным подбородком стали как бы выразительней и заметней, придав всему облику суровость, да и походка изменилась, обретя стремительный напор. При его появлении сразу возникала мысль: вот идёт командир. И этот командир, посадив своего бывшего командира на галеты и воду, нарочито вызвал Гаригу среди ночи, желая поглумиться. Вошёл тот понурый, по-стариковски шаркая сапогами.

— Ну, выпался, Минич? Отдохнул? — с мрачной иронией спросил кулацкий внук. — Думаю, сил наберётся. Кобылы на конюшне заждались.

— Жестокый ты человек, Костя! Принёсила дочка харчи, а ты и на порог не пустил...

— Не Костя! А господин начальник полиции! Ты меня гонял почём зря, а теперь я рулю. Понял?

Гарига подавленно сторбился и молчал. Он предполагал, что снисхождения от коварного помощника ждать нечего, однако такая встреча смутила даже его.

— О чём ты, Минич, думал, когда наставлял винтовку на военных? Это ж полк Юнгшульца! На их месте я бы расстрелял тебя без суда и следствия. А они с уважением... Больше тысячи человек, — сила! С красной кавалерией на Ставрополье рублились, фронтовики. А ты кто?

— А я такой же, как и ты, — огрызнулся Семён Минич.

— Поговори у меня! Посажу ещё на недельку, прочухаешься... — от гнева у Кости затрепетали ноздри, и весь он напрягся, навалился грудью на стол. — Мне с тобой шутки шутить некогда. Отпускаю домой, чтоб переоделся и сейчас же принёс свою форму. И сапоги сдашь. Да не забудь, Минич, уворованный карабин и ящик патронов... Я о них не забыл, не надейся... Понял?

Гул автомашин не умолкал за станицей, на ростовской дороге. Временами доносился трескучий рёв танкеток и самоходок, двигающихся по улицам. Святки в этом году выдались неровными, крепкие морозы чередовались с затяжными оттепелями. Этой ночью веяло с юга сырым теплом, тянуло бензиновой гарью, смешанной с горечью полыни и пресным духом размокшего чернозёма. Как только Гарига оказался на улице, белаая воинственность сполна вернулась к нему, несмотря на ощущение голода. За время, проведённое под арестом, он всё хорошо обдумал. Красная армия гонит немцев вспяты. И если попадётся он чекистам, то суд будет коротким. Делать в станице больше нечего! Слишком много врагов и завистников нашёл он за три месяца. Опять же — в немилость попал к старосте и немцам. Надежда на гуцула Стефана не оправдалась. Неизбежно пришлось бы проситься опять в конюхи, навоз ворочать... Но этому не бывать, — недаром глотнул он приворотного зелья власти, поднявшего над другими и отравившего гордыней, и теперь ничто не могло заставить его стать прежним, подневольным. Решение Гариги было твёрдое и бесповоротное: уехать с дочкой подальше, в Краснодар или Таганрог, где никто их не знает. Золотых украшений с камнями и денег у него хватит, чтобы купить приличный дом (благо теперь много пустующих) и жить там втихаря, не высовываясь и не привлекая к себе внимание. Глядишь, в городе и Любаша скорей пару найдёт... И скрыться, покинуть станицу необходимо сей же час, чтобы не хватились его бывшие подчинённые. Первым делом — дать команду дочке собираться, затем на конюшне запрячь в бедарку Кугута, которого не всякий верхоконный догонит. Если споровить до зари, то к полудню можно далеко домчаться...

Пока шёл по улице, до звона в голове наслушался капли и надыхался запахом талой воды. Ноги сами несли его к дому, и думалось о перемене жизни, о скорой весне. На пустыре белел снежок по сохлому спорышу, и ночь как будто посветлела.

С недоумением увидел Семён Минич в своём дворе подводу. А лошадей, видимо, коноводы увели в другое место. Он минул брошенную кем-то нараспашку калитку. Поверх сена в телеге лежал армейский брезент. “Оце так... Сами хозяйниуют!” — опалила догадка, и ненависть затуманила голову. Обогнув крыльцо, он достал из тайника в сарае карабин, быстро зарядил.

Прислушался: в хате немела тишина, хотя окна горницы были озарены керосинкой.

Входная дверь была незапертой. Гарига вошёл в коридор. Из передней слышался звук, похожий на гуденье закипающего самовара. Оружие было снято с предохранителя, и он был готов на всё.

Рывком толкнув внутреннюю дверь, Семён Минич ступил в горницу. И оторопь привоздила его на месте. У стола, заставленного пустыми бутылками и тарелками с остатками пищи, развалившись на стуле, храпел лысый немолодой кавалерист со спущенными до колен штанами. А его сослуживец, черноусый верзила, спал на топчане кровати, вытянув ноги в грязных сапогах. В комнате было утарно, и стояла едкая сивушная вонь.

— Любка! — отрывисто позвал Семён Минич и, не получив ответа, повысил голос. — Люба!

Успокоившись, что дочери в хате нет, и проклятые чужаки пили одни, Гарига всё же прошёл в зал, заглянул в спальню и обмер: кровать темнела голой сеткой, а перина валялась на полу. Дрожащими руками он достал из кармана штанов зажигалку. И увидел страшное: перину пятнали капли крови, а ночная сорочка дочери, располосованная вдоль, висела на краю кровати спинки.

— Ссильничали... — выдохнул Гарига, не слыша собственного голоса. — Издевались...

Шифоньер с дочкиными вещами зиял открытой дверкой, и он даже заглянул вовнутрь, уловил запах духов “Красная Москва”, которыми Любаша пользовалась и очень берегла. Снова оказавшись в горнице, Семён Минич хотел сразу убить обоих, но страх за дочку пересилил. Запальчиво дыша, он выбежал на крыльцо, лихорадочно соображая, где она могла спрятаться. И вдруг осенило: она наверняка у богомолки Марфы! И, может, не над ней надругались, а над другой бабой?

Семён Минич долго стучался в ставню соседского дома. Наконец, из-за закрытой двери Марфа тревожно и скрипуче выкрикнула:

— Кто там? На постой не беру, и еды — крохи нетути...

— Это я, Минич. У тэбэ Любаша?

Дверь приоткрылась. В образовавшуюся щель старуха проворчала:

— Какого лешего будишь? Нетути её у меня. Второй день не приходила, как на постой у вас ачутки стали...

Гарига прибежал домой, не обращая внимания на боль в сердце. Карабин тяжёлил руку, и он приставил его к крыльцу. И решил не медлить с расправой! Он зашёл за хату, где был дровяник, и удивился тому, что ворота его открыты. Значит, и здесь побывали чужаки, топя печь. Он наклонился, нащупывая в темноте топор, и вдруг головой задел за что-то. Вскинул глаза и у самого лица увидел голые ступни, поплывшие от него в сторону... Дико закричав, Семён Минич сел на землю. Не веря, что *это может быть*, содрогаясь всем телом, он смог достать и щёлкнуть своей немецкой зажигалкой. У стены кособочилась лестница, а на потолочной перекладине, захлестнув бельевую верёвку, висела дочка в жёлтом, недавно сшитом платье...

Обезумев, он срезал верёвку, на руках занёс Любашу в зал, положил на чистую кровать. И, глядя девичьи коченеющие руки, твердил одно и то же:

— Ще тэплэньки... Ще тэплэньки...

Вдруг из горницы донеслось пьяное бормотание. Гарига как будто очнулся! Ему больше не стоит бояться пролитой крови в собственной хате. Всё равно больше здесь не жить... И старым кухонным ножом он с ожесточением прикончил тех, кто забрал у него дочь...

После этого Гарига точно бы отрезвел. Уложив в вещмешок шкатулку с украшениями, деньги, патроны, две пары запасных шерстяных носков, немецкий штык-нож, нитки с иголкой и пожелтевшую семейную фотографию, на которой были он с женой и маленькая дочка, Семён Минич вынес его во двор и повесил на стоянок калитки. Затем из канистры облил бензином горницу, на минуту задержался в зале, прощаясь с Любашей. Горе гнуло его к земле, когда выходил он в последний раз из своей хаты сбивчивой походкой, воспринимая всё это, как бы во сне...

Пламя, подхваченное сквозняком, побежало с крыльца в открытую дверь, гулко обьяло горницу, прормелькивая языками в окнах. Гарига забросил карабин за плечо и разгонио зашагал через сад к речке. Несмотря на оттепель, лёд на Мечётке был прочным, и он быстро оказался на левобережье, где были когда-то отцовские виноградники. Путь лежал на запад, и он торопился как можно дальше уйти от станицы. А за спиной вставало, разрасталось зарево пожара. Но Гарига ни разу не оглянулся...

Утром тридцатого января Люська прибежала домой с возбуждённым криком:

— Наши пришли! Наши солдатики... Дяди красноармейцы на танке примчались... Ура-а!

Пелагея Никитична, всплеснув руками, бросилась к образам, шепча благодарственные слова молитвы всем святым. И отец Антоний, встав с кровати, перекрестился и произнёс:

— Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

Однако осунувшееся после болезни лицо его осталось невозмутимо-задумчивым. Он жалел о потерянных днях, которые отняла у него болезнь, о несостоявшейся крещенской литургии, о несовершенных требах и проповедях, о непрочитанных часах. Душа рвалась в храм, к прихожанам. Но это стало уже несбыточным. Господь не впустил в храм одних безбожников, теперь пожаловали другие. Он испытывал двойкие чувства: и радость от изгнания оккупантов, и печаль от неизбежного закрытия храма.

Оказалось, не он один думал об этом. Пелагея Никитична вошла в его комнату с решительным видом. Опустилась на стул возле письменного стола.

— Может, поднять людей и всё из церкви перевезти к нам? Иначе разграбят или сничтожат.

— Офицерам Красной армии не до этого. Нам скажут, когда освободить здание.

— Ой ли? В искушение легко впасть. Я советую забрать.

— Ну, хорошо. Убедили.

И часа через три отец Антоний расслышал понукание и увидел в окно, как к воротам подъехала гружёная подвода. Шёл снег, и белыми от него были гривы лошадей, и одежда кучера Агафона. Следом дошагали дед Дюньдик, тот самый Витька, который отличился при ремонте церкви, и хозяйка. Старик сдёрнул с воза дерюжку и на пару с подростком стал носить иконы, подсвечники, облачение батюшки, священные сосуды, хоругви и разную мелкую церковную утварь во времянку. Под конец подняли со дна фурманки огромную купель и даже аналой. Отдельно внесли в курень в двух чистых мешках убранство алтаря — предметы с Престола и жертвенника, запрестольный крест и семисвечник.

Дюньдик разговорился с батюшкой. Узнав, что дело пошло на поправку, простодушно обрадовался и посулил прислать внучонка Тольку со щукой, которую забил острогой. Напоследок поделился новостями.

— Набилось в станицу танков, а мост взорванный. А по всему этому берегу, по низине, мины расставлены. Саперы туда-сюда, а как под снегом отыщешь? По колено лег. Да... Слышал, будто Гаригу поймали.

Вечером при свете жирника Люська играла в горнице с тряпичной куклой, а отец Антоний и Пелагея Никитична сумерничали в зале. Разговор вязался обрывистый. Оба скрывали непреходящую тревогу, тягостное ожидание ареста.

— Так я притянулась к церковной жизни... Аж не верится, что — всё... — вздохнула Пелагея Никитична. — Только стали люди приучаться... И нехай бы церковь была! Кому мешает?

— Всё же мне немного удалось, — с грустью признался отец Антоний. — Старался вести службу и проповедовать так, чтобы храм каждый день был заполнен. Веру Божью надо открывать людям просто и радостно, не устранием Суда Небесного. Давать её в руки, как детям дают на Благовещение птиц.

Чтобы ощущали трепет в душе и помнили, что потерять её, спасительницу, можно безвозвратно... А я не смог справиться.

— Какое там! По воскресеньям негде было стать. Со всех концов района приезжали. Аж из Сальска! — возмутилась хозяйка. — Скольким людям надежду вернули, утешение дали! Одной церковью и жила станица в эту темень военную. А на кого надеяться, когда фашисты кругом? Только на Спасителя. А кто к нему путь укажет? Вы! И нечего на себя наговаривать...

— Меня принимали в храме как пастыря. А когда заболел, пришли проведать только трое. Вот насколько велика сила веры Христовой и сколь несовершенен наш мир. Он погряз в грехах и в лукавстве, и священнослужители приставлены спасти его. А нам не позволяют! Отгоняют нас от людей бичами и запретами...

— Вот это правильно. Одни люди благодарные, другие — завистливые и корыстные. Кто по заповедям живёт, а кому Христово учение без надобности. Но про вас худого словечка я не слыхала!

— Православная душа у вас, Пелагея Никитична. Без края.

— Тоже скажешь...

— Что бы я делал без вашей поддержки? Даже из полиции помогли выйти! Если бы у меня была возможность выбирать крёстную мать, то я указал бы на вас...

Через день за отцом Антонием пришли двое особистов: конвойный солдат и младший лейтенант с орлиным носом и сросшимися бровями. Они без стука вломилась в курень, хмурые и злые, фуражками напоминая синеголовых павлинов.

— Тут живёт священник? Это вы? Собирайтесь! — на одном дыхании выпалил лейтенант.

— Он ещё хворает, две недели с кровати не вставал, — пыталась защищать Пелагея Никитична. — Дайте сил набраться хотя бы до завтра.

— Мамаша, болезнь устав не отменяет. Незнание закона не освобождает от ответственности, — щегольнул красноречием парень и, желая выбить почву из-под ног, прикрикнул: — Поживей, Меркулов!

Люска потрясённо смотрела то на красноармейцев, то на бабушку Полю. Её детский разум не мог постичь, почему дяденьки, которые прогнали немцев, забирают батюшку, такого замечательного и доброго человека...

Штаб дивизии разместился в школе, два смежных класса были отведены под Особый отдел. Священника больше часа допрашивал сам начальник отдела майор Веденский. Вопросы были разные, в основном провокационно-глупые, и, отвечая на них, отец Антоний с трудом сдерживал раздражение. Услышав “Увести!”, он понял, куда...

Тюремным помещением оказался подвал, приспособленный под плотницкую. Сведя по ступеням, конвойный подтолкнул попа в рясе в отомкнутую дверь. В холодной темнице с маленьким оконцем ощущался запах лака и сырости. На земляном полу курчавилась мелкая стружка, валялись опилки досок. На одном из двух верстаков, подстелив чёрный тулуп, сидел спорбленный мужчина.

— Оце так! И тэбэ, Николаич, захомуталы? Ласкаво просымо! — со злорадством встретил Гарига. — Вдвох будэ веселийше.

Отец Антоний, неприятно удивлённый встречей, промолчал.

— Оце твоя лежанка, — показал Семён Минич на соседний верстак. — Занимай зараз, а то приведут ще кого-сь.

Не дождавшись ответа, он лёг, поджав к груди колени, чтобы согреться. И через минуту захрапел во всю ивановскую. От его сапог отдавало тинной и навозом. И Меркулову ничего не оставалось, как снять пальто и, подстелив его, тоже прилечь на доски, чуть пахнущие сосною. Оправив рясу и наперсный крест, он положил руки под голову и закрыл глаза. Вот и случилось то, о чём знал заранее. И приближается час земного судилища. Его он, в сущности, не боится, ибо сознательно шёл к этому дню всю жизнь, пребывая в свете Лица Божия. Только бы не поддаться унынию, не растратить смиренного терпения и принимать всё безропотно, с благодарностью Господу...

Семён Минич проснулся, откашлялся и сбросил ноги с верстака.

— Колы ж вони исты принесут? — пробубнил он сердито. — Сутки годом мордуют...

Полдень заметно посветлел. Но позёмка по-прежнему с шорохом бросала в оконце мелкий снежок. Солнце прочертило узкую синюю тень от здания по просторному двору.

— Чи живой, Николаич? — окликнул Гарига. — Давай балакать. А то бильше нэ придётся. Ты кажи мэни, як так, що ты, божья людьина, вместе со мной в заточенье? Иде ж твой Иисус? Чому не помог?

— Он и сейчас мне помогает, — отозвался отец Антоний и тоже поднялся, стал на землю. — И я знаю, что Господь видит меня.

Гарига нехорошо засмеялся.

— Мы с тобой, як два чёбота. У тэбэ ни семьи, ни детей немає, и я — круглый боббль... — он вдруг всхлипнул. — Дочки лишился... Прокляти казакі... Ото ж... Ты при Советах и при германской владе сидел...

— По вашей милости, — уточнил отец Антоний. — Хотя знали, что вины моей нет.

— Знав, а припугнуть надо було... И я при тех же властях в пленники попадал. Так що мы — одинаковые с тобой. Вот и ряди! Я жив, як хотел, вольно. Баб имел, водку пил, грабил, командовал полициями, богачество наживал. А сколько рабов Божьих на тот свет отправил? Усих не упомяну! Хозяином жизни був! А ты? То рясу носил, в церквах пропадал да молитвами забавлялся, то в лагере срок тянул, хуже пса на цепи, то на счётах костяшки перекидывал. И що? Оце життя?

— Вы заблуждаетесь в том, что живём мы только на земле. Душа бессмертна, она даётся Господом и забирается им. Вы же согласны, что у вас есть душа?

— А що це такэ? — ёрнически спросил Гарига.

— То, что заставило вас сейчас заплакать. Она в тенётах грехов, в дьявольской мгле... Но действительно есть! И после успенья предстанет на Суд Божий... Вы усомнились в том, что я выбрал счастливую судьбу... Послушайте, с юности мне не надо было иного, как жить по заповедям Христовым. Но лукавый много раз искушал, и я грешник, каюсь и отмаливаю грехи... И скажу вам первому, что всю жизнь пытался добром заслужить оправдание перед Господом. Праведность и оправдание не только созвучные слова, но и неразделимые понятия...

— Якцо Бога немає? — перебил Семён Минич уже неуверенно, без прежней насмешливости.

— Есть. И он рядом...

Гарига зябло передёрнул плечами.

— Ну, мэни зараз каяться поздно... Козырей перед божинькой не запас...

И вдруг услышав скрежет замка, испуганно повернул голову, с дрожью бормотнул:

— За кем?

Из-за приоткрытой двери сурово выкрикнули:

— Гарига, на выход!

Семён Минич стал торопливо натягивать свой чёрный, без знаков отличия полицейский китель, скороговоркой пытаясь отвлечься.

— Я до хутора Кавалерского уже дошёл... Взял вдоль берега, щоб не побачили. А там снега по колено, в копань провалился. Глубокая копань. Попал, як кур во щи. А то убер бы, и никто сроду бы не арестовал...

— Кому говорят?!

Семён Минич неузнаваемой походкой, еле передвигая ноги, поднялся по ступеням и круто оглянулся, выдохнул:

— Прости мэна, Николаич... — и в его глазах темнел покаянный страх.

— Бог простит, — успел ответить священник.

Отрывистые команды во дворе вскоре заставили отца Антония подойти к окну. С первого взгляда он всё понял. Отделение солдат было построено в шеренгу. А трое конвойных вели к ней Семёна Минича со связанными за спиной руками. Он валко ступал по снежной пелене, опустив голову. И вдруг

упал на колени, начал переступать ими, оставляя борозды, моля о пощаде того самого лейтенанта, со сросшимися на переносице бровями. Двое конвойных подхватили Гаригу под мышки, поволокли к означенному месту.

Отец Антоний отошёл от окна. Раскатыстый на морозе залп заставил его вздрогнуть и перекреститься, и прочесть заупокойную молитву о новопреставленном рабе Божьем Симеоне. Потом он стал ходить по подвалу. Вскользь подумалось: расстреливают, как правило, всех разом...

Спустя несколько минут пришли и за ним. Отец Антоний не стал надевать пальто. Незачем...

Снова он оказался перед Веденским. Но на этот раз майор, невысокий, широкоплечий мужчина, смуглым лицом напоминающий Файта, сменил манеру общения.

— Вас положительно характеризуют многие люди. В том числе бывший председатель колхоза, орденоносец Ершов, — и, достав папиросу, постучал мундштуком по крышке портсигара, неторопливо чиркнул спичкой, прикуривая. — Принципиально не пользуюсь зажигалками...

И эта простая фраза как бы располагала к доверительности.

— Честно говоря, я хочу сохранить вам жизнь. Товарищ Сталин встречался с православными иерархами. У нас с вами общий враг — гитлеровская Германия... Но как же вы, образованный, интеллигентный человек, осуждённый за контрреволюционную деятельность, отбыв заключение в лагере, решились служить немцам?

— Я служил в храме Богу, а не немцам.

— Погодите... Церковь открыта по распоряжению немецких властей. Так? Вы получали денежное вознаграждение...

— Нет. Я не взял ни копейки, хотя предлагали.

— Вот я и говорю, что вы добровольно изволили принять церковный приход. Фактически стали в административную зависимость от немецкого старосты... И это тянет на несколько статей, в том числе и на 58-ю. Вы уже осуждались по ней, и второй раз, уверяю, применят высшую меру наказания. ВМН, как пишется в протоколах.

Веденский сильными затяжками докурил папиросу и замял в стакане, уже полном окурков.

— Мы — не немцы. Вашего полицая, матёрого убийцу, следовало принародно повесить. А мы пожалели людей — и так натерпелись жестокости... — сплетал свою речь майор из угроз и участливых фраз, стараясь сломать психологическую устойчивость арестованного. — Если вы поможете нам, я гарантирую вам свободу. Более того, дам выписку из протокола, что вы выполнили специальное задание Особого отдела. Думаю, у следственных органов к вам вопросов больше не возникнет.

— Что мне нужно сделать? — спокойно спросил отец Антоний.

— Помочь Красной армии. Немцы взорвали мост и заминировали берег. Толстый слой снега и ямы мешают сапёрам. Танки стоят. А рота дивизионной разведки кукует на улице. Нужно найти проход...

— Я должен пройти на противоположный берег?

— Вы поняли меня правильно.

Отец Антоний несуетно поднялся.

— Я готов.

— А почему вы без пальто?

Священник не отозвался.

Его привезли в кабине полуторки к реке. Осиянный солнцем, цепенел морозный день. Глазурная снежная пелена вокруг, скаты сугробов и намётов в заречье слепили до стеклянных мушек в глазах. Следом подъехал на трофейном "Опеле" майор Веденский. Появление батюшки в расположении роты удивило небритого зеленоглазого командира в белом маскировочном халате. Его отозвал в сторону особист. Совещались они недолго, и Веденский представил сослуживца:

— Капитан Акименко. Он объяснит вам задачу.

Зеленоглазый, видимо, смущаясь тем, что впервые в жизни давал приказ священнику, отчеканил низким голосом:

— Задача простая. Хоть напрямик, хоть наискосок выйти на левый берег. — И, подумав, добавил: — Старайтесь ступать отвесно.

Отец Антоний, щурясь, огляделся. Станция под толстым снежным покровом была неузнаваема, празднична. Вездесущая детвора на пригорке неподалёку каталась на санках. По-бальному были нарядны и пушисты заснеженные вишни вдоль плетней. И среди этой белизны выделялась высокая фигура священника в чёрной суконной рясе и скуфье, с отблескивающим на груди большим серебряным крестом. Бойцы, сойдясь у танкетки, говорили приглушённо, с любопытством рассматривая станичного батюшку и не ведая ещё, зачем он здесь.

Отец Антоний прочёл про себя “Отче наш” и “Царю Небесный”, и продолжая читать молитвы, двинулся по спуску, проваливаясь в снег выше голенищ. До выбранной им цели на другом берегу, геодезического курганчика, было не более версты, но идти оказалось трудней, чем он предполагал. Несмотря на подмотанные портянки и толстую кирзу сапог, ступни быстро оконечели. Лицо жгуче опахивал ветер. Ступать так, как советовал командир разведчиков, не получалось — болели колени. Сквозь молитвенные слова стал вдруг слышаться ему непонятный, как будто струнный звук. И отец Антоний почему-то вспомнил о Файте, о его прощальной музыке. И решил, что близок миг откровения — исхода души из земной юдоли. Он и страшил немного, и притягивал тайной неизвестностью: как войдёт душа в Царствие Небесное...

Между тем, меряя шаги, он дошёл до середины луга. И заметил странную закономерность: неотступный звук то усиливался, то стихал, как только вилял он в сторону. И стал старательно внимать ему, ведущему вперёд, словно невидимая нить.

Однако силы таяли. Всё больше думал отец Антоний не о себе, а о том, что подведёт зеленоглазого командира. Судя по открытому лицу, это был хороший человек. С Божьей помощью он должен дойти! Разведчики и танки нужны на фронте, под Ростовом. И, копя энергию, стал чаще останавливаться, пережидать одышку...

На полдороге, когда уже ступил на речной лёд, его догнал девичий крик:

— Ба-атю-юшка!

Он оглянулся и метрах в ста увидел догоняющую его Люську. Неугомонная девчонка не бежала, а скакала, принаравливаясь к его следам.

— Стой! — попытался остановить её отец Антоний. — Марш назад! Кто тебе разрешал идти за мной?!

Люська замедлила шаги.

— Кому я говорю! Сейчас же иди домой!

— А я вам часы принесла, — звонким и упрямым голосом откликнулась своевольница. — Вы их забыли...

— Немедленно домой! Иначе жить у нас не будешь, — использовал отец Антоний последний аргумент, хотя ни за что бы не расстался с дорогим, потерявшимся к нему ребёнком.

Девочка отстала, но уходить и не собиралась.

И только когда отец Антоний с трудом вскарабкался по глинистому крутояру на берег и взшёл на курганчик, где была треногая вышка, она смело направилась к нему.

Отец Антоний ничего ей больше не сказал. И выглядел он постаревшим: бороду то ли припоросило, то ли, на самом деле, побелела за полчаса, пока проходил минную полосу. Он, что-то шепча и улыбаясь, смотрел на станичный берег, с которого цепочкой стали сходить красноармейцы. Молчала и Люська, размахивая голубым, как небушко, платком, сдёрнутым с головы и слушая, как в ладони отца Антония тикают принесённые ею часы...